

Раймон  
АРОН



Опиум  
интеллектуалов

PHILOSOPHY

Философия – Neoclassic

Раймон Арон

**Опиум интеллектуалов**

«Издательство АСТ»

1955

УДК 316  
ББК 60.5

**Арон Р.**

Опиум интеллектуалов / Р. Арон — «Издательство АСТ»,  
1955 — (Философия – Neoclassic)

ISBN 978-5-17-081909-6

Раймон Клод Фердинанд Арон (1905—1983) – друг юности и идейный противник Жан-Поля Сартра, виднейший французский философ, политолог, социолог и публицист второй половины XX века, один из создателей теории индустриального общества. Книга «Опиум интеллектуалов» вышла в 1955 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Дискуссии, последовавшие за ней, не смолкают и по сей день, что делает труд Р. Арона по-прежнему актуальным для читателя. Полный текст этого произведения издается на русском языке впервые. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 316

ББК 60.5

ISBN 978-5-17-081909-6

© Арон Р., 1955

© Издательство АСТ, 1955

# Содержание

Предисловие	6
Часть I. Политические мифы	8
Глава 1. Миф о левых	8
Глава 2. Миф о революции	25
Глава 3. Миф о пролетариате	43
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Раймон Арон

## Опиум интеллектуалов

© Calmann-Lévy, 1955

© Перевод. Л. Боровикова, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

\* \* \*

*Религия – это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира,  
она также — дух бездуховного времени.*

*Это опиум народа.*

**Карл Маркс**

*Марксизм – это, конечно, религия, в самом нечистом значении  
этого слова. Со всеми самыми низшими религиозными формами жизни  
его, в частности, объединяет факт постоянного использования, по  
выражению самого Маркса, в качестве опиума народа.*

**Симона Вейль**

## Предисловие

За последние годы я написал несколько статей, имевших отношение не столько к коммунистам, сколько к «коммунизантам», тем, кто, не являясь членом партии, испытывает симпатию к советскому режиму. И я решил объединить эти статьи и написать к ним введение. Этот сборник вышел в свет под названием «Полемические заметки» (Gallimard, 1955, collection Essais), введение и стало этой книгой.

Я пытался объяснить поведение интеллектуалов, безжалостных к слабостям демократии, но снисходительных к самым ужасным преступлениям, лишь бы они совершались во имя хороших доктрин: левые силы, революция, пролетариат. Критика этих мифов привела меня к размышлениям о культе истории, затем я задумался о той социальной категории, которой социологи еще не уделяли вполне заслуженного ею внимания: это – интеллигенция.

Таким образом, данная книга обращается и к современному состоянию идеологий, называемых левыми, и к положению интеллигенции как во Франции, так и во всем мире. Была предпринята попытка ответить на несколько вопросов, обращенных к самому себе: почему марксизм снова в моде во Франции, экономическое развитие которой опровергло все его предсказания? Почему идеологии пролетариата и партии пользуются большим успехом там, где менее многочислен рабочий класс? Что заставляет интеллектуалов в различных странах именно так говорить, думать и поступать?

В начале 1955 года споры о правых и левых, традиционно правых и новых левых снова вошли в моду. Повсюду все задавались вопросом: к кому пристать, к прежним или современным правым? Я отвергаю эти категории. В Национальном собрании фронты разграничиваются по-другому, в зависимости от обсуждаемых проблем. В некоторых случаях различают, строго говоря, правые и левые силы: сторонники соглашения с национализмом (туниским или марокканским) представляют при желании левых, между тем как сторонники репрессий или существующего положения относятся к правым. Но не являются ли защитники полной национальной независимости левыми, а сторонники Европы, которые соглашаются с существованием наднациональных организаций, – правыми? С таким же основанием можно было бы поменять термины.

С точки зрения Советского Союза, «мюнхенский дух» встречается и среди социалистов, ностальгирующих о марксистском братстве, и среди националистов, неотступно преследуемых «немецкой опасностью» или безутешно горящих о потерянной величии. Объединения голлистов, сторонников де Голля, и социалистов происходят под лозунгом национальной независимости. Но не зародился ли этот лозунг из единого национализма Морраса<sup>1</sup> или из якобинского патриотизма?

Модернизация Франции, развитие экономики представляют собой проблемы, которые внедряются в сознание нации. Проведение реформ наталкивается на препятствия, созданные не только монополиями или умеренными избирателями. А те, кто привержен прежнему образу жизни и архаичным способам производства, не всегда являются «крупными деятелями», они часто голосуют за левых. Используемые методы больше не создают блоки и идеологии.

Какой-нибудь кейнсианец, сожалеющий о либерализме, благосклонный к соглашению с туниским или марокканским национализмом, убежден, что прочность атлантического альянса является лучшей гарантией мира. Я же в зависимости от того, как они относятся к экономической политике, Северной Африке или отношениям Восток – Запад, буду делить их на левых или на правых.

---

<sup>1</sup> Шарль Моррас (1868–1952) – публицист, член Французской академии, поддержал режим Виши. – *Прим. перев.*

Какая-либо определенность во французских дискуссиях-перепалках может быть достигнута только при избавлении от двусмысленных понятий. Чтобы наблюдать за реальной жизнью, задаваться целями и констатировать абсурдность этих политико-идеологических смещений, которыми от чистого сердца легкомысленно играют революционеры и журналисты, желающие непременно добиться успеха.

По ту сторону борьбы мнений и меняющихся коалиций, вероятно, можно распознать несколько типов сознания. Каждый отдает себе отчет об избирательных предпочтениях... Но, заканчивая писать эту книгу, посвященную группе, к которой я отношу и себя, я склоняюсь к тому, чтобы разорвать все связи, но не для того, чтобы найти удовольствие в одиночестве, а для того, чтобы выбрать себе соратников среди тех, кто умеет бороться без ненависти, и тех, кто отказывается в борьбе на Форуме находить тайну человеческого предназначения.

*Сен-Сигизмон, июль 1954.*

*Париж, январь 1955.*

## Часть I. Политические мифы

### Глава 1. Миф о левых

Имеет ли еще смысл альтернатива правые и левые? Те, кто задает такой вопрос, немедленно становятся подозреваемыми. Но ведь Аллен написал: «Когда меня спрашивают, имеет ли еще смысл разрыв между правыми и левыми партиями, между людьми правого и левого толка, в голову сначала приходит то, что человек, который задает этот вопрос, не относится к левым силам». Этот запрет не остановит нас, так как он, скорее, предал бы приверженность предубеждению, чем убежденность, основанную на разуме.

Левые силы, по мнению Литтре<sup>2</sup>, – это «оппозиционная партия во французских палатах, партия, заседающая слева от президента». Но это не то же самое, что оппозиция. Партии чередуются во власти. Партия левых остается левой даже в том случае, если она формирует правительство.

Настаивая на важности двух терминов – правые и левые, – не ограничимся констатацией того, что технология политических сил стремится к тому, чтобы сформировать, отделившись от центра, два постоянно разделенных блока. Внушается существование либо двух типов людей с фундаментально противоположными отношениями, либо двух типов концепций, диалог между которыми будет постоянно продолжаться, несмотря на изменение терминов и институтов. Либо, наконец, двух лагерей, борьба которых составила бы хронику веков. Пожалуй, только в воображении историков можно представить себе эти два типа людей, философских воззрений, партий, историков, обманутых делом Дрейфуса или сомнительной интерпретацией избирательной социологии.

Между различными группами, относящими себя к левым, никогда не было глубокого единства. Из поколения в поколение меняются лозунги и программы. А имеют ли между собой что-либо общее те левые, которые сражались вчера с конституционным режимом, и те, кто сегодня утверждает себя в режимах народной демократии?

### Мифы из прошлого

Франция проходит через этап антагонизма правых и левых. В то время как эти термины до Второй мировой войны изредка использовались в политическом языке в Великобритании, они уже давно были приняты в гражданском праве Франции. Левые имеют такой преобладающий приоритет, что умеренные или консервативные партии ухищряются снова применять некоторые эпитеты, заимствованные из словаря своих противников. Сталкиваются демократические, республиканские и социалистические убеждения.

Согласно распространенному мнению, два обстоятельства придают этому антагонизму исключительное значение. Концепция мира, которой придерживаются сторонники старого режима, была вдохновлена католическим воспитанием. Новое сознание, которое подготовило революционный взрыв, склоняется к принципам, аналогичным церковной, а также королевской власти. Партия движения с конца XVIII века и на протяжении большей части XIX века боролась одновременно с тронem и алтарем, она склонялась к антиклерикализму, поскольку церковная иерархия покровительствовала, или казалось, что покровительствовала, Партии

---

<sup>2</sup> П.-М. Эмиль Литтре (1801–1881) – философ-позитивист, автор французского словаря, известного как Литтре. – *Прим. перев.*

сопротивления. В Англии, где религиозная свобода была причиной и очевидной ставкой в Великой революции XVII века, передовые партии носили печать независимых, нонконформистов, радикалов, скорее христианского сектанства, чем атеистического рационализма.

Переход от старого режима к современному обществу произошел во Франции внезапно и жестко. С другой стороны Ла-Манша конституционный режим устанавливался постепенно, представительские институты вышли из парламента, происхождение которого восходит к средневековым ритуалам. В XVIII и XIX веках демократическая законность сменила монархическую, не устранив ее полностью, равенство граждан постепенно стерло различие сословий. Идеи, которые Французская революция разнесла бурей по всей Европе, независимость народа, осуществление власти в соответствии с правилами, избранные и независимые ассамблеи, устранение различий в правах личности – все это было реализовано в Англии даже раньше, чем во Франции, и при этом народ отнюдь не освобождался от цепей в прометеевском порыве. «Демократизация» там была общим достижением соперничающих партий.

Грандиозная или ужасная катастрофа или революционная эпопея разделила пополам историю Франции. Она, кажется, направила одну Францию против другой, из которых одна не смирилась, не желая исчезнуть, а другая без устали продолжала крестовый поход против прошлого. Каждая из них прошла через преобразование почти неизменяемого человеческого типа. С одной стороны взывают к семье, власти, религии, с другой – к равенству, разуму, свободе. Здесь уважают порядок, постепенно устанавливаемый на протяжении веков, там обучают верить в способности человека изменить общество в соответствии с достижениями науки. Правые – партия традиций и привилегий против левых – партии будущего и единомыслия.

Эта классическая интерпретация не является ложной, но она представляет собой ровно половину правды. На всех уровнях существует два человеческих типа (хотя все французы не принадлежат ни к одному, ни к другому): господин Омэ против господина священника, Ален и Жорес против Тэна и Моррасса, Клемансо против Фоша. В некоторых случаях, когда конфликты носят особенно идеологический характер, по поводу законов об образовании, по делу Дрейфуса или отделения церкви от государства, оба блока стремятся сформироваться, и каждый из них претендует на истинность. Но как не подчеркнуть, что теория двух блоков в основе своей – из прошлого и призвана замаскировать беспощадные распри, раздирающие каждый из так называемых блоков. Это и есть неспособность, которую по очереди демонстрируют правые и левые, совместно управляя государством, что показывает политическая история Франции с 1789 года.

До упрочения Третьей республики, если не считать несколько месяцев между февральской революцией и июньскими днями 1848 года, левые были во Франции XIX века постоянной оппозицией (отсюда и происходит путаница между левыми и оппозицией). Левые силы противостояли реставрации, поскольку считали себя наследниками революции. Именно оттуда они извлекли исторические названия, мечту о прошлой славе, свои надежды на будущее, но они сомнительны, как и то огромное событие, на которое они ссылаются. Эта левая ностальгия обладает всего лишь мифическим единением. Она никогда не была единой, с 1789 по 1815 год ее было не больше, чем в 1848 году, когда крушение орлеанистской монархии позволило республике заполнить конституционный вакуум. Правые, и это известно, также не были едины. В 1815 году монархистская партия была разделена на ультрароялистов, которые мечтали о возвращении старого режима, и умеренных, согласных на статус-кво. Восшествие на престол Луи-Филиппа вынудило легитимистов на внутреннюю эмиграцию, а приход Луи-Наполеона не примирил орлеанистов и легитимистов, одинаково враждебных к узурпатору.

Гражданские разногласия XIX века снова воспроизвели конфликты, которые придали революционным событиям их драматический характер. Неудача конституционной монархии привела к полупарламентской монархии, а ее неудача – к республике, которая во второй раз выродилась в плебисцитную империю. Кроме того, сторонники Конституции, фейяны, жирон-

дисты, якобинцы были безжалостно повержены, чтобы в конце концов уступить место коронованному генералу. Они не представляли собой не только группы, соперничающие за обладание властью, они не были согласны ни на форму правления во Франции, ни на полноту реформ. Монархисты, желавшие дать Франции конституцию, аналогичную английской, не соглашались с теми, кто мечтал об уравнивании в богатстве и во враждебности к старому режиму.

Нам неважно, почему революция пришла к катастрофе. Г. Ферреро в последние годы жизни любил рассуждать о различии между двумя революциями, революции конструктивной, которая была направлена на расширение представительства, на предоставление некоторых свобод. И революции деструктивной – вызвавшей крушение принципа легитимности и отсутствие легитимности смены власти. Такое различие вполне удовлетворительно для понимания. Революция конструктивная несколько смешивается с результатами событий, которые мы оцениваем положительно: представительная система, социальное равенство, личные и интеллектуальные свободы. К деструктивной революции относят ответственность за террор, войны, тиранию. Нетрудно представить монархию, которая сама по себе постепенно, с отступлениями вводит главное из того, что, нам кажется, и было творением революции. Но идеи, вдохновлявшие ее, строго говоря, несовместимы с монархией, они расшатывали систему сознания, на которой покоился трон, они вызвали кризис легитимности, следствием которого стал большой страх и террор. В любом случае факт состоит в том, что старый режим рухнул сразу, почти не защищаясь, и что Франции понадобился целый век, чтобы прийти к другому режиму, принятому большинством нации.

Социальные последствия революции стали очевидными и необратимыми с начала XIX века. Уже было невозможно отказаться от отмены законов о привилегиях, от Гражданского кодекса, от равенства людей перед законом. Но выбор между республикой и монархией был еще не окончательным. Демократические устремления не были связаны с парламентскими институтами; бонапартисты подавили политические свободы во имя демократических идей. Никто из крупных писателей Франции в это время не признал левые силы, объединенные единой волей, которая охватила всех наследников революции против защитников прежней Франции. Партия движения – это противоположный миф, которому не отвечала даже избирательная реальность.

Клемансо выступил против исторической очевидности: «Революция – это блок», когда республике уже было обеспечено существование. Это заявление отмечало собой конец вчерашних распрей между левыми. Демократия примирилась с парламентаризмом, принцип заключался в том, что всякая власть исходит от народа, и на этот раз всеобщее избирательное право способствовало защите свобод, но не возвышению тирана. Либералы и эгалитаристы, умеренные и экстремисты больше не имели причин воевать и уничтожать друг друга: цели, которые заявляли различные партии, были в конце концов достигнуты одновременно. Третья республика – режим конституционный и в то же время народный. Она закрепляла законное равенство при всеобщем избирательном праве и неправомерно выдавала себя за славного наследника в блоке революции.

Но в тот момент, когда консолидация Третьей республики положила конец внутренним распрям левой буржуазии, возник раскол, носивший латентный характер еще со времени заговора Бабёфа, а может быть, и с момента зарождения демократической идеи. Левые против капитализма пошли вслед за левыми протестующими – против старого режима. А совпадали ли цели этих новых левых, объявивших народную собственность на средства производства и организацию государственной экономической деятельности, с целями вчерашних левых, восставших против королевского произвола, привилегированных порядков и цеховых интересов?

Марксизм дал формулу, которая сразу обеспечила преемственность и отметила собой разрыв между прежними и новыми левыми силами. Четвертая республика наследовала Третьей, пролетариат сместил буржуазию. Буржуазия разорвала цепи феодализма, вырвала народ

из пут местных сообществ, личной преданности, религии. Но люди, лишённые преград и традиционной опоры, чувствовали себя незащищёнными перед бесстрастными рыночными механизмами и всемогуществом капиталистов. Пролетариат смог бы завершить освобождение и установить человеческий порядок на месте хаоса либеральной экономики.

В зависимости от стран, школ и обстоятельств подчеркивался освободительный или организаторский аспект социализма. Они настаивали то на разрыве с буржуазией, то на преемственности Великой революции. В Германии до 1914 года социал-демократия охотно демонстрировала безразличие в отношении собственно политических ценностей демократии и не скрывала осуждения, несколько презрительного, относительно положения, принятого французскими социалистами, решительными защитниками всеобщего избирательного права и парламентаризма.

Конфликт между буржуазной демократией и социализмом во Франции обнаружил такой же контраст, как и конфликт между различными группами левой буржуазии: его отрицают тем горячее, чем с большей силой он проявляется в действительности. До недавнего времени, вероятно, до Второй мировой войны, левые интеллектуалы редко толковали марксизм буквально и допускали радикальную оппозицию между пролетариатом и всеми приверженцами прошлого, включая буржуазных демократов. Философия, с которой они себя соотносили, была философия Жореса, сочетавшая элементы марксизма с метафизикой идеализма и предпочтения реформам. Коммунистическая партия развивалась быстрее в фазах народного фронта или патриотического сопротивления, чем в фазах тактики «класс против класса». Многие из поддерживающих компартию желают видеть в ней наследника движения Просвещения, партии, которая снова взяла на себя задачу других фракций левых сил, но с большим успехом.

Однако общественная история ни одной другой страны Европы не имеет таких трагических эпизодов, как июньские дни Коммуны 1848 года. Социалисты и радикалы триумфально победили на выборах 1924 и 1936 годов, но были неспособны править вместе. В день, когда партия социалистов была окончательно интегрирована в правительственную коалицию, коммунисты стали главной рабочей партией. Периоды блока левых, альянс неклерикальных сил и социалистов в период дела Дрейфуса и законы отделения церкви от государства – это период кризисов, которые решительно повлияли на мышление Алена, – менее характеризуют Францию, чем раскол между буржуазией и рабочим классом, который вскрыли события 1848, 1871, 1936 и 1945 годов. Единство левых в меньшей степени есть не отражение французской реальности, а скорее ее камуфляж. Потому что оно было неспособно достигнуть своих целей без 25 лет потрясений, Партия движения после всплеска борьбы выработала два принципа: добро и зло, будущее и прошлое. Потому что ей не удалось объединить рабочий класс и нацию, буржуазная *интеллигенция* мечтала о левых, которые объединили бы представителей Третьей и Четвертой республик. Эти левые вовсе не были мифической силой. Перед выборами они иногда объединялись. Но так же, как революционеры 1789 года объединялись только задним числом, когда реставрация отторгла в оппозицию жирондистов, якобинцев и бонапартистов, точно так же радикалы и социалисты реально объединились только против неуловимого врага, реакции, и уже в анахроничных битвах, когда они были преданы секуляристами.

## Распад ценностей

В настоящее время, особенно во время Великого кризиса 1930 годов, доминирующей идеей левых стало то, что студенты, приехавшие из Африки и Азии в университеты Европы или Соединенных Штатов, привезли с собой отпечаток марксизма, правда, несколько догматичного. Левые выдают себя за антикапиталистов и сочетают в одном неопределённом синтезе народную собственность на средства производства, враждебность к концентрации экономической власти у монополистов, недоверие по отношению к рыночным механизмам. Теснить ряды

влево – *keep left* – на единственно правильном пути, ведущем к национализации и контролю за равенством доходов.

В Великобритании это выражение за последние 20 лет приобрело некоторую популярность. Может быть, марксизм, который несет с собой антикапитализм, внушает историческое видение левых, как воплощающих собой будущее, которые совершили бы свержение капитализма. Может быть, приход к власти лейбористов в 1945 году выразил накапливающееся озлобление во фракции непривилегированных против правящего класса. Совпадение между желанием социальных реформ и бунтом против правящего меньшинства создает ситуацию, которая порождает и развивает миф о левых.

На континенте решающий опыт века являет очевидный двойной раскол в среде правых и в среде левых, созданный фашизмом, или национализмом и коммунизмом. В остальной части света решающим опытом становится распад политических и социальных ценностей левых. Видимость идеологического хаоса получается из столкновения и замешательства между непосредственно европейским расколом и переоценкой европейских ценностей в обществах за пределами западной цивилизации.

Не без опаски используются термины, заимствованные из политического словаря Запада в конфликтах внутри наций, принадлежащих к другим сферам цивилизации, даже и особенно тогда, когда борющиеся партии умудряются сослаться на западные идеологии. В различных ситуациях идеологии склонны к приданию противоположных значений их исходным смыслам. Те же самые парламентские институты выполняют функцию либо движения, либо консервации в зависимости от общественного класса, который их основал и ими управляет.

Когда добропорядочные офицеры, выходцы из мелкобуржуазных семей, разлагают парламент, манипулируемые восточными пашами, и ускоряют захват национальных ресурсов, где в это время находятся левые или правые? Офицеры, которые приостанавливают конституционные гарантии (другими словами, устанавливают диктатуру сабли), не могут называться левыми. Но плутократы, которые еще недавно служили электоральным или представительным институтам, теперь удерживают свои привилегии, больше не заслуживают этого славного эпитета.

В странах Южной Америки или Восточной Европы не раз воспроизводилось то же сочетание авторитарных средств и социально прогрессивных целей. В подражание Европе они создали парламенты, ввели избирательное право, но массы оставались неграмотными, а средний класс слабым: либеральные институты неизбежно были монополизированы «феодалами» или «плутократами», крупными собственниками и их союзниками в государстве. А диктатура Перона, поддерживаемая *descamidos* (*безрубашечниками*), которую позорит крупная буржуазия, привязанная к своим привилегиям и к парламенту, ею созданным и защищаемым, она правая или левая? Политические, социальные и экономические ценности левых, которыми отмечены последовательные этапы развития, находятся на конечном отрезке пути признания в Европе, в других местах остаются радикально распавшимися.

Впрочем, это не значит, что такой распад не был замечен теоретиками политики. Греческие авторы описали две типичные ситуации, при которых возникают авторитарные движения, которые нельзя отнести ни к правым аристократам, ни к левым либералам: «прежняя тирания» – это современница перехода между патриархальными обществами и городскими и ремесленными обществами. А «тирания современная» происходит из борьбы заговорщиков внутри демократий. Первая чаще бывает военной, а вторая – гражданской. Одна опирается на группировку растущих классов, мелкую буржуазию городов, она отвергает господствующие институты и умело пользуется к собственной выгоде крупными группами, «семьями». Вторая в старинных городах собирала в неустойчивую коалицию «богачей, взволнованных угрозой грабительских законов» и самых бедных граждан, которых средние классы лишили средств к существованию, принеся в жертву кредиторам. В индустриальных обществах XX века подобная коалиция объединяет крупных капиталистов, на которых наводит ужас социализм, про-

межуточные группы, считающие себя жертвами плутократов и пролетариата, защищаемого профсоюзами, представителей самых бедных трудящихся (сельскохозяйственных рабочих или безработных) и, наконец, националистов и активистов всех общественных групп, которых раздражает медлительность парламентских действий.

В XIX веке история Франции дает примеры подобных распадов. Наполеон закрепил социальные завоевания революции, но он заменил ее монархией, ослабленной и веротерпимой, личной властью, настолько же деспотичной, насколько эффективной. Гражданский кодекс и диктатура не были больше несовместимы с веком буржуазии, как и пятилетние планы и тирания с веком социализма.

Хотелось придать конфликтам Старой Европы какую-то идеологическую чистоту, объяснить «фашистские революции» высшими формами реакции. Вопреки очевидности отрицается, что коричневые демагоги были смертельными врагами либеральной буржуазии так же, как и социал-демократы. Революции правых оставляют у власти тот же капиталистический класс и ограничиваются заменой полицейского деспотизма на более тонкие категории парламентской демократии. Какова бы ни была роль, которую сыграл «крупный капитал» в пришествии фашизма, искажается историческое значение «национальных революций», когда их приводят к разновидности своеобразной реакции или к государственной суперструктуре монополистического капитализма.

Однако если рассматривать одну крайность – большевизм и другую – франкизм, то первую несомненно нужно назвать левой, а вторую – правой: первый заменил собой традиционный абсолютизм, он ликвидировал прежний правящий класс, создал коллективную ответственность на средства производства. Он пришел к власти при поддержке рабочих, крестьян и солдат, истосковавшихся по миру, хлебу и праву на землю. Второй пришел на смену парламентскому режиму, он финансировался и поддерживался привилегированными слоями (крупными собственниками, промышленниками, церковью, армией), он одержал победу на полях сражений гражданской войны благодаря марокканским войскам при участии карлистов и благодаря, наконец, немецкой или итальянской интервенции. Большевики относят себя к левой идеологии, рационализму, прогрессу, свободе, франкисты – к контрреволюционной идеологии, семье, религии, власти.

В любом случае антитеза далека от определенности. Национал-социализм мобилизовал массы не менее угнетенных людей, чем те массы, которые откликнулись на призыв социалистических и коммунистических партий. Гитлер получал деньги от банкиров и промышленников, некоторые руководители армии видели в нем единственного человека, способного вернуть Германии ее величие, но миллионы людей поверили в фюрера потому, что они больше не верили в выборы, партии, парламент. При развитом капитализме угроза кризиса в сочетании с моральными последствиями проигранной войны восстановила ситуацию, аналогичную первичной индустриализации. Это контраст между очевидной слабостью парламента и экономическим застоєм, возможность восстания крестьян, обремененных долгами, и рабочих, потерявших работу, безработных интеллектуалов, ненавидевших либералов, плутократов и социал-демократов – всех, кто, по их мнению, извлекает выгоду из ситуации статус-кво.

Сила притяжения партий, считающих себя тоталитарными, проявляется или каждый раз рискует проявиться в трудных обстоятельствах, когда появляется диспропорция между представительными режимами и потребностью правительства в индустриальном обществе народных масс. Попытка утверждения политических свобод силой не пропала и после Гитлера и Муссолини.

Национал-социализм становился все менее консервативным по мере своего продвижения во власти. Армейские командиры, выходцы из известных семей, позже оказались подвешенными на мясницкие крюки рядом с лидерами социал-демократии. Управление экономикой постепенно улучшалось, партия старалась соответственно своей идеологии видоизменить Гер-

манию, а при возможности и всю Европу. При слиянии партии и государства, при устранении независимых организаций, при преобразовании партийной доктрины в единую национальную идею, при жестокости методов и чрезмерной власти полиции – не напоминает ли гитлеровский режим власть большевиков больше, чем в мечтах контрреволюционеров? Похоже, правые и левые или псевдоправые фашисты и псевдолевые коммунисты объединились в тоталитаризме.

Можно возразить, что гитлеровский тоталитаризм является правой силой, а сталинский тоталитаризм – левой, под предлогом того, что первый заимствует идеи у контрреволюционного романтизма, а другой – у революционного рационализма, что один считает себя особым, национальным или расовым, а другой – универсальным начиная с единственного класса, избранного историей. Но тоталитаризм, прикидывающийся левым, и через тридцать пять лет после революции воодушевляет великую русскую нацию, обвиняет космополитизм и поддерживает деспотию полиции и мракобесие, другими словами, он продолжает отвергать либеральные и личные ценности, которые движение Просвещения пыталось противопоставить деспотии властей и мракобесию церкви.

По-видимому, более приемлемой была бы аргументация, которая присвоила бы революционному пароксизму и необходимости индустриализации единую национальную идею государства и террора. Большевики – это якобинцы, добившиеся успеха благодаря стечению обстоятельств, они расширили пространство, подвластное их воле. Так же, как Россия и страны, привлеченные новой верой, экономически отстают от Запада, секта, убежденная в воплощении дела прогресса, должна положить начало своему правлению, обрекая народы на нужду и тяготы. Э. Бёрке (и он тоже) думал, что якобинское государство представляло собой агрессивную диктатуру против традиционных режимов, что война между этими последними и революционной идеей была неизбежной и беспощадной. Ослабление коммунистического пыла, подъем уровня жизни в будущем помогут преодолеть великий раскол. После этого обнаружится, что методы отличались больше, чем результат.

Оглядываясь назад, было признано, что левые, восставшие против старого режима, преследовали многочисленные цели, которые не были ни противоречивыми, ни едиными. С помощью революции Франция раньше других стран добилась социального равенства и в документах, и в текстах законов. Но падение монархии, устранение политической роли привилегированных законов на протяжении целого века продлило нестабильность всех французских режимов. Однако ни во Франции, ни в Англии в период между 1789 и 1880 годами регулярно не соблюдались ни личные свободы, ни конституционный характер власти. Партия либералов, более озабоченная юридически *habeas corpus* (законом о неприкосновенности личности), свободой прессы, представительными институтами, чем монархической или республиканской формой государства, представляла собой беспомощное меньшинство. Великобритания ввела всеобщее избирательное право для мужчин только в конце века, но она не знала и подобия плебисцитарного цезаризма, граждане не боялись ни произвольных арестов, ни цензуры или захвата газет.

Можно ли сказать, что подобное явление в настоящее время разворачивается перед нашими глазами? И не истолковывается ли конфликт методов как конфликт принципов? Развитие индустриального общества и вовлечение масс – это общеизвестные факты. Контроль, а иначе государственное управление производством, участие профессиональных организаций – профсоюзов – в публичной жизни, законная защита рабочих составляют программу-минимум социализма нашего времени. Там, где экономическое развитие достигает достаточно высокого уровня, где демократическая идея и практика глубоко укоренены, там метод либерализма позволяет привлечь народные массы, не жертвуя свободой. И наоборот, там, где, как в России, экономическое развитие отстает и где государство, оставшееся на стадии абсолютизма, было не приспособлено к вызовам века, революционная команда, однажды пришедшая к власти, должна была ускорить индустриализацию и насильем принудить народ одновременно и к жерт-

вам, и к обязательной дисциплине. Советский режим носит отпечаток мышления якобинцев и нетерпимости сторонников планового хозяйства. Он будет приближаться к демократическому социализму по мере того, как будет нарастать идеологический скептицизм и «обуржуазивание» народа.

Но даже если это описывать в относительно оптимистической перспективе, примирение левых коммунистов и левых социалистов будет перенесено на неопределенное будущее. Когда коммунисты перестанут верить в универсальность своего предназначения? Когда развитие производительных сил позволит ослабить политическую и идеологическую суровость? Бедность удручает миллионы человек, но одна идеология, которая обещает в будущем изобилие, еще на протяжении века будет нуждаться в монополии на гласность, чтобы скрыть зазор между мифом и реальностью. Наконец, примирение между политическими свободами и планированием экономики еще более затруднительно, чем примирение, достигнутое в конце века между социальными завоеваниями и политическими целями Французской революции. Парламентское государство в теории и на практике согласовывается с буржуазным обществом: а совместимо ли общество плановой экономики с каким-либо государством, кроме авторитарного?

И не возвращают ли левые силы в результате своего развития диалектически еще более худшее угнетение, чем то, против которого они восстали?

### **Диалектика режимов**

Левые силы сформировались в оппозиции, определившись согласно своим идеям. Они разоблачали общественный порядок, несовершенный, как и вся человеческая жизнь. Но однажды левые силы одержали победы, став ответственными за существующее общество, а правые, оказавшиеся в оппозиции, став контрреволюцией, без труда доказали, что левые представляли собой не свободу против власти или народ против привилегированного класса, но одну власть против другой, один привилегированный класс против другого. Чтобы узнать изнанку или цену триумфальной революции, достаточно выслушать полемику ораторов вчерашнего режима, возникшую в памяти или восстановленную в спектакле неравных представлений, полемику консерваторов начала XIX века и сегодняшних либеральных капиталистов.

Общественные отношения, устанавливаемые на протяжении веков, чаще всего завершаются бóльшей гуманизацией. Неравенство закона о положениях между членами различных слоев общества не исключает взаимного признания. Оно оставляет место для настоящих обменов. Оглядываясь назад, воспеваются красота человеческих отношений, превозносятся добродетели верности и порядочность, которые противостоят холодности отношений между теоретически равноправными людьми. Бойцы Вандеи сражались за свое миропонимание, но не за свои оковы. По мере удаления во времени события снисходительно делается акцент на противоречии между прелестью вчерашних сюжетов и сегодняшним страданием народа.

Контрреволюционная полемика сравнивает постреволюционное государство с государством монархическим, человека, оставленного без защиты на произвол богатых и власти, с французами, полями и городами, которые старый режим объединял в общины с общечеловеческими задачами. Потому, что государство Комитета общественного спасения, Бонапарт или Наполеон брали на себя решения многих проблем, они были в состоянии требовать от нации большего, чем Государство Людовика XVI, – это очевидный факт. Никакой легитимный правитель XVIII века не мог бы и мечтать о подъеме масс. Устранение личного неравенства влекло за собой одновременно и бюллетень для голосования, и воинскую повинность, а военная служба была всеобщей задолго до права на всеобщее голосование. Революционер настаивает на свержении абсолютизма, участии представителей народа в обсуждении законов, конституции вместо произвола, вместе с непрямыми выборами и самими исполнительными органами. Контрреволюция напоминает, что власть в недавнем прошлом, в принципе абсолютная, была на самом

деле ограничена обычаями, привилегиями стольких промежуточных сословий, неписаными законами. Великая революция (и вероятно, все другие революции) обновила идею государства, но она ее, в сущности, омолодила.

Социалисты приняли сторону контрреволюционной полемики. Устраняя разнообразие личного статуса, из различий между людьми они оставили существовать только деньги. Аристократия потеряла политические позиции, престиж и в значительной степени экономическую основу своего общественного слоя, земельную собственность. Но под предлогом равенства буржуазия монополизировала казну государства. Одно привилегированное меньшинство заменили другим. А что получил от этого народ? Более того, социалисты стремились объединиться с контрреволюционерами в критике индивидуализма. И они тоже с ужасом описывали «джунгли», в которых отныне живут люди, потерянные среди миллионов других людей, в битвах одних против других, все одинаково подчиненные случайностям рынка, непредвиденным скачкам конъюнктуры. Пароль «организация» заменяет или добавляется к паролю «освобождение», организация, осознанная коллективизмом экономической жизни, чтобы избавить слабых от господства сильных, бедных – от эгоизма богатых, саму экономику – от анархии. Но та же диалектика, которая отмечала переход старой Франции к буржуазному обществу, в худшем виде воспроизводится в переходе от капитализма к социализму.

Устранение трестов, крупных концентраций средств производства в частных руках – любимая тема левых. Они вступаются за народ и порицают тиранов. Современная картинка представляет монополистов как сеньоров, эксплуатирующих простых смертных и противостоящих интересам народа. Решение, предлагаемое левыми партиями, состоит не в расформировании трестов, а в передаче государству неограниченного контроля над некоторыми отраслями промышленности или предприятиями. Приведем классическое возражение: национализация не ликвидирует, она часто подчеркивает негативные стороны экономического гигантизма. Техничко-бюрократическая иерархия, в которую вовлечены трудящиеся, не изменяется при перемене, внесенной статусом собственности. Директора национальных заводов «Рено», а также угледобывающей промышленности Франции не менее способны внушить правительству решения, благоприятные для своих предприятий. Действительно, национализация устраняет политическое влияние, в котором упрекали промышленных магнатов, действующих в тени. Средства воздействия, которые теряют управляющие трестами, возвращаются к хозяевам государства. Ответственность последних стремится к усилению по мере того, как уменьшается ответственность владельцев средств производства. Когда государство остается демократическим, оно рискует одновременно и расширяться, и ослабевать. Когда к власти приходит та или иная команда, она восстанавливает государство и заканчивает тем, что сосредотачивает в своих руках экономическую и политическую мощь: претензии на это левые всегда предъявляли монополистам.

Современная система производства представляет собой иерархию, которую мы будем называть технобюрократией. Высший ранг здесь занимает скорее организатор, или *менеджер*, чем инженер, или, собственно говоря, технарь. Национализация в таком виде, в котором она реализована во Франции, Великобритании или в России, не защищает трудящегося от начальства, потребителя против монополиста. Такая национализация устраняет акционеров, членов административного совета, финансистов – тех, чье участие в собственности скорее теоретическое, чем практическое, или тех, кто при операциях с документами может влиять на судьбу предприятий. Мы не пытаемся здесь определять результат, преимущества и недостатки такой национализации, ограничимся лишь констатацией того, что в этом случае реформы левых заканчиваются изменением распределения могущества между избранными, они не возвышают бедного или слабого и не принижают богатого или сильного.

В западных обществах технобюрократическая иерархия ограничена производственным сектором. Она обеспечивает работу множеству малых или средних предприятий. В сельском

хозяйстве сохраняется несколько состояний (землевладелец, фермер, издольщик), в системе распределения существуют гиганты и карлики: большие магазины и угловые молочные. Структура западных сообществ довольно сложна: выходцы из докапиталистической аристократии, семьи, богатые на протяжении нескольких поколений, частные предприниматели, крестьяне-собственники с разнообразными общественными отношениями и независимые группы. Миллионы людей могут существовать помимо государства. Расширение технбюрократической иерархии означало бы ликвидацию этой сложности, никакой человек не подчинялся бы никому другому, поскольку все были бы подчинены государству. Левые пытаются освободить индивида от возможности ближайшего порабощения, они могли бы, в конце концов, приучить его к юридически более отдаленному порабощению справа, фактически повсеместной зависимости от администрации. Однако чем больше пространство общества, завоеванное государством, тем меньше у него шансов стать демократическим, так сказать, объектом мирного соревнования между относительно автономными группами. А в тот день, когда все общество можно было бы сравнить с единственным гигантским предприятием, высокопоставленные начальники вряд ли стали бы зависеть от одобрения или неодобрения нижестоящей толпы.

По мере такой эволюции пережитки традиционных отношений, местные сообщества становятся не столько тормозом демократии, сколько препятствием для поглощения индивидуума безмерной бюрократией – бесчеловечным монстром, порождением промышленной цивилизации. Отныне исторические иерархии, ослабленные и очищенные с течением времени, кажется, меньше могут поддерживать прежнюю несправедливость, чем снимать препятствия абсолютистских тенденций социализма. Против безликого деспотизма последнего консерватизм становится союзником либерализма.

Таким образом, оптимистичное представление истории, освобождение которой означало бы завершение, заменилось на пессимистичное представление, согласно которому тоталитаризм, порабощение душ и тел, стал бы концом движения, начавшегося устранением *сословий* и закончившегося отменой всякой независимости личностей и групп. Советский эксперимент поощряет этот пессимизм, к которому в XIX веке уже склонялись светлые умы. Токвиль с невыносимой ясностью показал, к чему может привести непреодолимое стремление демократии, если представительные институты были сметены нетерпением масс, если чувство свободы, по природе аристократичное, начало угасать. Такие историки, как Якоб Буркхардт и Эрнест Ренан, опасались цезаризма «низкой» эпохи, более того, они не надеялись на примирение людей, живущих в это время.

Мы не придерживаемся ни одной, ни другой точки зрения. Неизбежные преобразования технических или экономических структур, расширение роли государства не содержат в себе ни освобождения, ни порабощения. Но всякое освобождение несет в себе опасность новой формы порабощения. Миф о левых создает иллюзию, что историческое движение, ориентированное на счастливый результат, собирает все накопленное каждым поколением. Настоящие свободы благодаря социализму добавились бы к формальным свободам, выдуманной буржуазией. На самом деле, история подчиняется диалектике. Не в том смысле, какой коммунисты сегодня придают этому слову. Режимы не являются противоречащими друг другу, не обязательно переход от одного к другому происходит с разрывом связей или с насилием. Но в рамках каждого режима другие считаются угрозами, нависшими над людьми, и, исходя из этого, те же самые институты меняют свое значение. Борясь против плутократии, обращаются к всеобщему избирательному праву или к государству; против наступающей технократии стараются сохранить местные или профессиональные автономии.

В одном данном режиме речь идет о достижении разумного компромисса между почти несовместимыми требованиями. Признаем гипотетически усилия, направленные на равенство доходов. В капиталистической системе налоговая система содержит в себе один из инструментов для сокращения разрыва между богатыми и бедными. Этот инструмент, не лишенный

эффективности с тех пор, как прямой налог, справедливо распределяемый и накапливаемый, как и национальный доход, собираемый с каждого человека, стал достаточно высок. Но начиная с некоторой точки, изменяющейся в зависимости от страны, взимание налогов вызывает сокращение поступлений и мошенничество и истощает спонтанное накопление. Следует согласиться на некоторую меру неравенства, неразделимого с самим принципом конкуренции. Надо признать, что налог на наследство ускоряет распыление крупных состояний, но не разрушает их радикально. И нет безграничного продвижения в направлении равенства доходов.

Начинает ли человек левой ориентации, разочарованный сопротивлением реальной жизни, желать полностью планируемой экономики? Но в таком обществе возник бы другой тип неравенства. Теоретически сторонники планирования экономики были бы в состоянии сократить неравенство в любой мере, которая показалась бы им подходящей: но какая мера показалась бы им соответствующей и коллективным интересам, и их собственным? Ни опыт, ни психологическое правдоподобие не дадут благоприятного ответа по причине эгалитарности («уравниловки»). «Планировщики» предложат целый диапазон зарплат, чтобы мотивировать каждого работника: было бы невозможно удержать работников одной чрезмерной строгостью. Левые протестуют против такого равенства, какое есть в оппозиции, и против того, что капиталисты занимаются созданием богатства. В тот же день, когда они оказываются во власти, они должны примирить необходимость максимального производства с заботой о равенстве. Что касается «планировщиков», они, вероятно, будут оценивать свои услуги не менее, чем их предшественники – капиталисты.

Кроме значительного увеличения коллективных ресурсов, которое располагается где-то за историческим горизонтом, каждый тип режима допускает только некоторую дозу экономического равенства. Можно подавить какое-то неравенство, связанное с определенным способом развития экономики, автоматически перестроив ее под другой тип режима. Предел «уравниловки» доходов определен тяжестью социальной сферы, человеческим эгоизмом, но также коллективными и моральными требованиями, не менее законными, чем протесты против неравенства. Также справедливым для роста промышленного производства является вознаграждение самых деятельных и наиболее одаренных<sup>3</sup>. Абсолютное равенство в такой стране, как Англия, не смогло бы гарантировать меньшинству, поддерживающему и обогащающему культуру, условий творческого существования<sup>4</sup>.

Социальные законы, приветствуемые левыми и которые почти полностью одобряет общественное мнение, в настоящее время находятся в пассивном состоянии, но они не могли бы бесконечно расширяться, не задевая другие, также законные, интересы. Семейные пособия, финансируемые, как во Франции, налогами на зарплату, благоприятствуют отцам семейств в ущерб молодым и неженатым, другими словами, в ущерб людям самого продуктивного возраста. А надо ли левым больше заботиться о том, чтобы уменьшить страдания, или стоит подумать об ускорении экономического прогресса? В этом случае коммунистов нельзя отнести к левым. Но в эпоху, озабоченную вниманием к уровню жизни, левые не-коммунисты должны беспокоиться о том, чтобы ускорить рост общественного продукта, как это в недавнем прошлом было при капиталистах. Это ускорение не менее сообразовано с благосостоянием людей, чем с коллективным процветанием. А еще социальная сфера сопротивляется идеальной воле, но также обнаруживает противоречие между различными лозунгами, «каждому по потребностям» и «каждому по труду».

---

<sup>3</sup> Ни огромные доходы, ни крупные состояния не являются в наше время необходимыми. Кроме того, и те и другие могут быть переданы государству, в странах капиталистической демократии они существуют, но с уменьшающейся значимостью.

<sup>4</sup> Бертран де Жувенель посчитал: чтобы довести до 250 фунтов стерлингов в год самые низкие доходы общей суммы, в 1947–1948 гг. надо было бы ограничить 500 фунтами в год самые высокие доходы после обложения налогами. (The Ethics of redistribution, Cambridge University Press, 1951, p. 86).

В Англии дотации на продовольствие в сочетании с косвенными налогами привели к перераспределению трат внутри семьи. Согласно статистике, приведенной в журнале «Экономист» от 1 апреля 1950 года, семья из четырех человек, имеющая минимальный доход в 500 фунтов стерлингов в год, получала в среднем 57 шиллингов в неделю и платила 67,8 различных налогов и взносов в социальные службы. В частности, они платили налог 31,4 шиллинга за напитки и табак. Исходя из этого, политика социальных прав и налоговой системы рискует отказаться от самой себя. Сокращение расходов и налогов государства, может быть, имело бы в 1955 году смысл, противоположный тому, который оно имело в 1900 году. «Единственный смысл» в политике – это большая иллюзия, торжество одной идеи есть причина всех бед.

Люди левой ориентации совершают ошибку, когда защищают авторитет своих идей: о коллективной собственности или системе полной занятости следует судить по их эффективности, но не по моральному воодушевлению их сторонников. Они совершают ошибку, придумывая фиктивную преемственность, считая, что будущее всегда лучше прошлого, а партия изменения, всегда имея доводы против консерваторов, может стать преемницей всех достижений и заботиться исключительно о новых завоеваниях.

Каким бы ни был режим, традиционным буржуазным или социалистическим, никогда не будут гарантированы ни свобода мысли, ни человеческая солидарность. И только левые, всегда верные самим себе, говорят не о свободе или равенстве, а о братстве, то есть любви.

### Идея и реальность

В западных странах в той или иной мере присутствуют различные направления правой-левой оппозиции, которых мы разделили из соображений анализа. Левые повсюду сохраняют некоторые характерные черты борьбы против старого режима, повсюду они отличаются заботой о социальных правах, полной занятости, национализации средств производства, повсюду они опорочены суровостью сталинского тоталитаризма, на который они ссылаются, но не осмеливаются полностью отрицать. Повсюду медлительность парламента и нетерпение масс вызывают риск разделения политических и социальных ценностей. Но слишком велика разница между странами, где эти смыслы перепутаны, и теми странами, где *единственный* смысл управляет дискуссиями и созданием фронтов. Великобритания принадлежит к последней категории, а Франция к первой.

В Великобритании легко удалось сделать фашизм смешным. Уильям Джойс<sup>5</sup> был разоблачен во время событий при альтернативе сплоченность или предательство (он выбрал предательство). Руководители профсоюзов убеждены, что они принадлежат к национальному сообществу и могут улучшить условия рабочих, не отрекаясь от традиций и не порывая с преемственностью конституционной жизни. Что касается коммунистической партии, неспособной к выборности ни одного своего депутата, она действует либо подрывной деятельностью, либо агентурой, занимает несколько важных должностей в профсоюзах, подсчитывает единомышленников или симпатизантов своей «марки» среди интеллектуалов, но не играет серьезной роли ни в политике, ни в прессе. Левые еженедельники вполне влиятельны. Они великодушно примиряются с другими – континентальными или азиатскими – благодетелями Народного фронта или Советами; они и не помышляли бы протестовать против них в старой Англии.

Отсутствие фашистской или коммунистической партии идейные дискуссии относятся к реальным конфликтам: в социальном плане, между эгалитарными устремлениями и общественной иерархией, унаследованной от прошлого; в экономической сфере – между коллек-

---

<sup>5</sup> Во время войны более известен под именем лорд Хо-Хо (Haw-Haw). Он работал на немецком радио, вещавшем на английском языке.

тивистской тенденцией (коллективная собственность, полная занятость, контроль) и предпочтением рыночных механизмов. С одной стороны, эгалитаризм против консерватизма, с другой – социализм против либерализма. Консервативная партия хочет остановиться на достигнутом месте перераспределение доходов, партию либералов, интеллектуалов неофабианцев, но хотела бы идти и дальше. Консервативная партия разрушила механизм управления, который либерализм отладил во время войны, либеральная партия задается вопросом: хотела бы она частично восстановить капитал во власти?

Ситуация казалась бы более ясной, если было бы три партии вместо двух. Либерализм *тори* готов к дискуссиям. Среди людей, принадлежащих к умеренным левым (к тем, кого мы стали бы так называть во Франции), люди разума и реформ не желают отдавать свои голоса социалистам, склонным к этатизму. Сознание левых – не конформистское, которое не смешивается с миропониманием левых социалистов, оставаясь без представительства.

Исчезновение либеральной партии как политической силы вызвано частично историческими обстоятельствами (кризис Ллойд Джорджа после Первой мировой войны), частично избирательным режимом, который безжалостно устраняет третью партию. Но это имеет также историческое значение. Основа либерализма – уважение личных свобод и мирных методов правительства – больше не является монополией одной партии, потому что она стала благом для всех. Когда больше ставят под сомнение право на религиозные заблуждения или на политические разногласия, нонконформизм, так сказать, исчерпал свою функцию, потому что выиграл партию. Моральное вдохновение английских левых, вышедшее из секуляризованного христианства, отныне имеет целью и выражением социальные реформы, лейбористская часть которых приняла на себя инициативу или ответственность. В одном смысле левые XIX века одержали чересчур полную победу: либерализм больше не является их собственностью. В другом смысле левые отстали от событий: появившаяся рабочая партия выполняет требования непривилегированного класса.

Лейбористы одержали в 1945 году победу, масштаб которой их удивил. На протяжении пяти лет они могли создавать законы по своей воле и широко использовали это право. Англия 1950 года наверняка сильно отличается от Англии 1900 или 1850 годов. Неравенство доходов пятьдесят лет назад было больше, чем в любой другой стране Запада, а теперь оно меньше, чем в любой стране на континенте. Родина частной инициативы отныне предлагает почти завершенную модель социального законодательства. Если бы во Франции было введено бесплатное здравоохранение, были бы заметны доказательства разумности теории и системы. Промышленный сектор был национализирован, сельскохозяйственные рынки заорганизованы. Но каковы бы ни были достоинства сделанного, Англия узнаваема. Условия жизни и работы пролетариата стали лучше, но не изменились фундаментально. Дипломатия лейбористов, успешная в Индии, считается неудачной на Ближнем Востоке и не отличается, по сути, от дипломатии правительства консерваторов. Так что же это, социализм?

Рассмотрим ситуацию с двух сторон. Со стороны лейбористов, особенно среди интеллектуалов, задаются вопросом: что же делать? Со стороны консерваторов вернули доверие и не сомневаются, что старая Англия, как и в прошлом веке, импортировала суть континентальных революций, вовсе не проливая крови и не жертвуя опытом, накопленным веками.

«Новые фабианские опыты»<sup>6</sup> выявили отныне желание бороться как против богатства, так и против бедности. Они хотят уменьшить накопление богатства, которое позволяет состоятельному человеку жить не работая. Есть желание расширить общественный сектор, чтобы сделать возможным сужение диапазона зарплат. Поскольку частный сектор занимает большую часть экономики, там зафиксированы самые высокие уровни заработной платы. Но государство потеряло бы самых лучших своих работников, если бы согласилось заменить их управ-

---

<sup>6</sup> New Fabian Essays, опубликованы R. H. S. Crossman. London, 1952.

ляющими национализированных предприятий, получающих намного меньшую зарплату, чем управляющие частных предприятий. Если ликвидировать прежний класс управляющих, это заметно ослабило бы еще сохранившийся аристократический характер английского общества.

Эти исследования относятся к нормальному развитию доктрины. Воплотив самую большую часть своей программы, лейбористы задались вопросом: какова цель настоящего этапа, консолидация или новое продвижение? Умеренные левые близки к тому, чтобы открыто согласиться на консолидацию и объединение с просвещенными консерваторами, которые также ставят экономические вопросы исторического значения. Как избежать инфляции, когда в эпоху полной занятости профсоюзы свободно ведут переговоры с нанимателями? Как поддержать гибкость экономики и предпринимательскую инициативу? Как ограничить или сократить взимание налогов? Где найти капитал для инвестиций в предприятия с сомнительным будущим? Короче, каким образом свободному обществу удачно внедрить определенную долю социализма, всем гарантировать безопасность, если не ограничить восхождение по карьерной лестнице наиболее одаренным и не замедлить распространение коллективной собственности?

Вполне возможен диалог между теми, кто разочарован недостаточностью реформ лейбористов, и теми, кто опасается их продолжения, между теми, кто желает уменьшения неравенства и увеличения доли коллективной собственности, и теми, кто хочет приложить усилия и вознаградить рост производительности, между теми, кто относится с доверием к «внешнему контролю», и теми, кто хочет восстановить работу рыночных механизмов. Правящий класс охотно согласился пожертвовать частью накопленных богатств и своей властью. Этот правящий класс сохраняет аристократический стиль, но продолжает искать согласия с теми, кто воплощает «неопределенное будущее». Правые, может быть, и вовсе не любят новую Англию, где левые завоевывают позиции. Кто с практической точки зрения, а кто и с энтузиазмом, но все согласился с этим. Когда Уинстон Черчилль, анализируя «Дорогу к рабству» Ф. Хайека на народном собрании, намекнул на неизбежность «гестапо» при управляемой экономике, он никого не пугал, а вызвал бурный смех у своих избирателей. Может быть, через десятки и сотни лет восторжествует эта пророческая истина, которая в тот момент была только аргументом в избирательной кампании. Политическая идея в Англии вполне современна реальной жизни. Такого нельзя будет сказать о политической идее во Франции.

Идеологический хаос в современной Франции связан со смешением различных смыслов, согласных принять левую и правую оппозицию, такое смешение само по себе повинно во многих делах. Во Франции лучше сохранились доиндустриальные структуры, чем в странах британского или скандинавского типа. Конфликт старого режима и революции там так же актуален, как и конфликт либерализма и лейборизма. Но идея опережает будущее и уже разоблачает риски технической цивилизации, тогда как французы далеки от получения материальных благ.

В западных департаментах Франции доминирующим остается конфликт между консерватизмом, связанным с религией, и светской, рационалистской партией движения с эгалитарной тенденцией. Правые – это католики, они не отделяют себя от привилегированного класса, левые в основном представлены профессиональными политиками, мелкой и средней буржуазией. Социалисты, кажется, сменяют радикалов, а также самих коммунистов в некоторых партиях центра и юга Франции.

Другие департаменты представляют собой французский аналог слаборазвитых стран. В южной части долины Луары некоторые малоиндустриальные районы с отсталым сельским хозяйством сохранили структуру частной собственности. Там охотно голосуют за местную знать и среднюю буржуазию и есть много избранных от Объединения демократических и независимых левых, а также от коммунистов то ли по причине левых традиций, то ли вследствие медлительности экономического развития.

Третий тип образуют промышленные регионы, крупные городские образования. В них с 1948 до 1951 года успешно соединились Объединение французского народа (RPF) и комму-

нисты, этому альянсу почти не сопротивлялись социалисты, конкурирующие с коммунистами. Народно-республиканское движение (MRP) потеряло самую большую часть своих избирателей в пользу RPF или умеренных.

Разнородность общественных структур нашла свое отражение в разнородности партий. Если судить по ответам анкет проведенного опроса, избиратели-коммунисты показывают в основном стремления, которые в Англии выражаются в левом секторе лейбористов. Но если правда, что многие избиратели-коммунисты относятся к беванистам (доктрина, высказанная в 50-х годах Нейлом Беваном, в которой защищается государственный контроль за экономикой в противоположность полной национализации. Некоторые рассматривают лейбористскую партию Британии как наследницу беванизма. – *Прим. перев.*), то здесь необходимо поскорее призвать к объяснениям, чтобы не возникло только одно-единственное. Почему французские избиратели часто приходят в замешательство, которого благополучно избегают британские, немецкие или бельгийские выборщики? Близкое расположение трех структур – западных, слабо развитых регионов и современных городов – по крайней мере позволяет начать такое объяснение.

Вполне вероятно, что в протестантских странах коммунизм представляет себя наследником буржуазной и рационалистической революции. Он вербует сторонников в регионах с медленно развивающейся экономикой, которые часто бывают с традиционно передовыми взглядами по причинам, сравнимым с теми, которые заявляют о своем успехе в Азии или в Африке. Коммунисты разжигают конфликты между издольщиками, фермерами и собственниками, они возбуждают наиболее неблагоприятные притязания, используют недовольство, которое создает стагнацию. Наконец, в промышленных частях страны в его ячейки приходят люди из рабочего класса, соблазненные революционной партией из-за неудач реформистских профсоюзов и социалистической партии. Эти неудачи, в свою очередь, среди других являются причиной устойчивой низкой производительности в отсталых провинциях и сопротивлением докапиталистических элементов в самых динамичных регионах.

Такой же общественной разнородностью объясняется предел развития партии при миллионах избирателей коммунистов. В наименее развитых сельскохозяйственных районах есть много крестьян-собственников и представителей мелкой буржуазии, враждебно настроенных против красных, и такая партия недовольных объединяет довольно значительное меньшинство. Желание поддержать определенный образ жизни является решающим для всех слоев населения, поэтому в департаментах промышленной цивилизации примиряются с коммунистами намного больше трети избирателей.

Группы Объединения французского народа также были достаточно разнородными, как и группы компартии, и по той же самой причине. Там, где выжила память о борьбе между старым режимом и революцией, между церковью и светской школой, эти группы смешиваются с объединениями реакционных или умеренных, они забирают сторонников у классических правых и у Народно-республиканского движения (MRP). В городах северной части страны были объединения разного типа, сегодня они объединяются как с левыми социалистами, так и с MRP, с радикалами или с умеренными. Сочетание антикоммунизма с традиционным национализмом напоминает об идеологии партий, называемых правыми революционерами, которые пытаются заимствовать у левых их политические ценности.

Социалистическая партия и фракция MRP мечтали создать в начале Второй мировой войны что-то типа лейбористской партии, но их покинули потенциальные сторонники. Эту неудачу они объясняли прошлым, борьбой между церковью и революцией, и она все еще остается: хаос коммунизма и передового социализма обманывает все еще многих рабочих, а привычка к привычному образу жизни склоняет многих буржуа к консерватизму. «Французский лейборизм» обречен так и оставаться в воображаемом мире.

Нигде правая и левая оппозиция не были настолько авторитетными, как во Франции, но нигде они не были настолько неоднозначными: французский консерватизм выражается в идеологическом факте. Многие любят говорить, что Франция пережила в свою великую эпоху уникальную тему всех битв века. Левые мысленно представляют себе одномерную историю, в которой святой Георгий одержал победу над драконом. Но те, кто не хочет больше знать ни правых, ни левых, иногда переносятся в своем воображении в рационализированное общество, в котором «планировщики» экономики устранили бы нищету, но также фантазию и свободу. Политическая мысль во Франции является устаревшей или утопичной.

И политические поступки также стремятся отделиться от настоящего. План общественной безопасности, который применялся во Франции, заблаговременно является коммерческим механизмом с запоздалым экономическим развитием. Францию преследуют ошибки стран, индустриализация которых развивается при имитации зарубежных моделей. Импортируя какие-то машины, заводы, есть риск смешать наиболее благоприятное техническое оснащение, рассчитанное инженерами с экономическим оптимумом, изменяющимся в зависимости от среды. Современная налоговая система достигает эффективности только тогда, когда налогоплательщики принадлежат к той же сфере, к какой принадлежат законодатели и управленцы. На предприятиях, не имеющих бухгалтерского учета, таких, как сельскохозяйственные, коммерческие или ремесленные, вероятно, никакая система налогообложения не может быть успешной.

Во Франции любят хвалить капитализм. Но где капиталисты, которых стоит похвалить? Может быть, это несколько крупных создателей заводов или торговых сетей, наследники Ситроена, Мишлена или Буссака? Предпринимательские семьи Лиона или севера, благонамеренные католики? Или высокопоставленные сотрудники промышленных предприятий, частные или общественные руководители? Крупные деловые банки, некоторые из которых контролируются государством? Руководители малых и средних предприятий, среди которых есть и управляемые интеллектуально, а также другие искусственные пережитки прошлого? Капитализм Маркса, Уолл-стрит или колониальных афер предлагает наилучшую цель для негодования, которое этот капитализм разнообразит и сеет повсюду, эта буржуазия, которая охватывает более половины нации, если к ним добавить кандидатов в штатные должности.

Во Франции совершенно невозможно определить, кто является левым антикапиталистом или левым кейнсианцем и антимальтузианцем. Но при одном условии: не встраиваться в схему правые-левые или в марксистские схемы и обнаруживать разнообразие споров, сохраняющих актуальность, разнообразие структур, которые составляют современное общество, разнообразие проблем, следующих из этого, и необходимые методы действия. Историческое сознание обнаруживает это разнообразие, идеология его скрывает даже тогда, когда рядится в мишуру исторической философии.

\* \* \*

Левые вдохновлены тремя идеями, не всегда противоречивыми, но чаще всего отличающимися: *свобода* против деспотии властей и за безопасность личности, *организация* для того, чтобы заменить традицию стихийным порядком или анархией – личные инициативы, а рациональным порядком – *равенство* против привилегий по рождению и богатству. Организатор левого движения становится более или менее *авторитарным* потому, что свободные правительства действуют медленно и сдерживаются сопротивлением *национальных* (если не националистических) интересов или предубеждений потому, что только государство способно реализовать свою программу, иногда *империалистическую*, поскольку «планировщики» стремятся располагать огромным пространством и ресурсами. *Либеральные* левые восстают против социализма, потому что они не могут не констатировать разбухания государства и возврата

деспотизма, на этот раз бюрократического или анонимного. Против национального социализма они придерживаются идеала интернационализма, который не стал бы требовать оружием триумфа веры. Что касается эгалитарных (уравнительных) левых, создается впечатление, что они приговорены быть в постоянной оппозиции против богатых и обладающих властью то в качестве соперников, а то и разоблачителей. Так каковы же истинные левые, вечно левые?

Может быть, «леваки» (гошисты), в основном редакторы журнала *Esprit*, дадут нам непроизвольно ответ на этот вопрос. Они посвятили специальный номер «американским левым» и честно признали трудности восприятия заокеанской реальности, которая соответствовала бы этому европейскому термину. Американское общество не знало ничего похожего на борьбу против старого режима, там нет рабочей или социалистической партии, а две традиционные партии подавили попытку создания третьей – прогрессистской или социалистической партии. Принципы американской Конституции или экономической системы никогда не ставятся серьезно под вопрос. Политическая борьба мнений чаще всего имеет технический, а не идеологический характер.

Исходя из этого, можно рассуждать в двух аспектах. Или, можно сказать, в аспекте одного из американских сотрудников журнала: «Соединенные Штаты всегда были социалистической нацией в том смысле, что они улучшили условия жизни обездоленных классов и обеспечили общественное правосудие»<sup>7</sup> (А.-М. Роз). Или, как этого желали бы хорошие социалисты Европы, «создание лейбористской партии – первое условие любого преобразования американского общества», или они заявят, что «создание социализма» в США есть «мировая настоящая неотложная необходимость»<sup>8</sup>. Очевидно, французские редакторы склоняются к последнему направлению, принадлежа, в профессиональном плане, к «новым левым». Рабочая партия европейского типа единственная могла бы достигнуть целей левых сил. Средства, рабочая партия или планирование преобразованы в основные ценности.

Но после того, как предоставлено невольное доказательство предубеждения, когда наступает момент сделать вывод, один из редакторов внезапно забывает о конформизме *интеллигенции*: «Надо задаться вопросом, можно ли еще говорить о левых там, где больше не существует волнений... Потому что представитель левых сил, по крайней мере в глазах французов, это тот, который не всегда разбирается в политике своей страны. Тот, кто знает, что не существует мистической гарантии для будущего; это человек, который протестует против колониальных экспедиций, это человек, не допускающий жестокости ни против врагов, ни совершаемой в виде репрессий...»<sup>9</sup>. «...Можно ли говорить о «левых» там, где притупляется простое чувство человеческой солидарности к страдающим и угнетенным, которых прежде заставляли подниматься европейские и американские толпы на защиту Сакко и Ванцетти?»<sup>10</sup>.

Если именно таков человек левых взглядов, враждебный ко всем видам ортодоксальности и открытый всем страданиям, значит ли это, что он исчез только в Соединенных Штатах? Или это левый коммунист, для которого Советский Союз всегда прав? Или левые – это те, кто борется за свободу для всех народов Азии и Африки, но не для поляков или восточных немцев? А может быть, в наше время побеждает язык исторических левых: дух вечно левых мертв, когда единственным смыслом является жалость сама по себе.

---

<sup>7</sup> *Esprit* novembre, 1952, p. 604.

<sup>8</sup> Michel Crozier, p. 584–585.

<sup>9</sup> Мы представили фразу, в которой Ж.-М. Доменаш говорил о бактериологической войне, «которая, может быть, уже происходит».

<sup>10</sup> Michel Crozier, p. 701–702.

## Глава 2. Миф о революции

Миф о левых подспудно содержит идею прогресса и внушает видимость постоянного движения. Миф о революции имеет один дополнительный и противоположный смысл: он питает ожидание разрыва с обычным ходом человеческих вещей. И это тоже, кажется, рождает размышление о прошлом. Все эти вещи, как нам представляется задним числом, подготовили Великую революцию, распространяя образ мышления, несовместимый со старым режимом, не заявляя и не желая апокалиптического крушения старого мира. Почти все дерзкие в теории философы проявляли ту же осторожность, что и Жан-Жак Руссо в роли советника государя или законодателя. Большинство проявляет оптимизм: разом отброшенные традиции, предрассудки, за один раз просвещенные люди выполняют естественные законы общества. Начиная с 1791 или 1792 года современники, включая философов, почувствовали последствия революции как катастрофу. С течением времени смысл катастрофы был утрачен, и стали вспоминать только величие события.

Среди тех, кто ссылается на Партию движения, одни пытаются забыть террор, деспотизм, череду войн, все кровавые перипетии тех героических и ярких дней, которые были причиной взятия Бастилии или праздника Федерации. Гражданские битвы, славные события или военные поражения были только случайным сопровождением революции. Непреодолимое стремление к освобождению духа и людей, к разумной организации сообществ, прерванное монархической или религиозной реакцией, продолжается, может быть, мирным путем, но в случае необходимости – с ограниченным использованием силы.

Другие же, наоборот, делают упор на взятие и ниспровержение власти. Они верили в насилие как в единственную возможность творить будущее. Приверженцы революционного мифа чаще всего поддерживают ту же систему ценностей, что и реформисты, они рассчитывают на тот же результат достижения мирного, либерального общества, подчиненного разуму. Но человек реализовал бы свое призвание и взял бы ответственность за свою судьбу, только пройдя через Прометеев подвиг – сам по себе ценность или необходимое средство.

Заслуживают ли революции столько чести? Люди, задумывающиеся об этом, – это не те люди, которые их делают. Те, кто их начинает, редко доживают до их завершения, если только они не находились в ссылке или в тюрьме. И являются ли революции символом человечества, хозяина самому себе, если ни один человек не узнал бы себя в творении, совершившемся из борьбы всех против всех?

### Революция и революции

На языке, принятом у социологов, революция обозначается как внезапная замена насилием одной власти на другую. Если принять это определение, то мы отбросим несколько значений слова, которые создают неоднозначность или путаницу. При таком выражении, как промышленная революция, в памяти просто возникают глубокие и быстрые изменения. Когда говорят о лейбористской революции, вспоминается действительная или предполагаемая важность реформ, выполняемых британским правительством между 1945 и 1950 годами. Однако эти изменения не были ни жестокими, ни сопровождавшимися перерывами в законодательстве, они не представляли собой исторический феномен такого типа, как события с 1789 по 1797 год во Франции или с 1917 по 1921-й в России. И самое главное, лейбористское творение не было революционным в том смысле, в каком этот эпитет применяется к якобинцам или большевикам.

Но даже если отбросить эти крайние события, существует некоторая двусмысленность. Понятия никогда точно не отражают факты: пределы их строго определены, ограничения

этих колеблются. Можно насчитать множество случаев, когда эта неопределенность была бы легитимной. Пришествие к власти национал-социалистов было легитимным, а жестокость узаконена государством. Можно ли говорить о революции как о внезапности перемен, произошедших при изменении состава правительства и формы институтов, несмотря на легальный характер преобразования? С другой стороны, заслуживают ли *pronunciamentos* (военные мятежи) южноамериканских республик «звание» революции, если они заменяют одного офицера на другого, военную суровость на гражданскую или наоборот, когда происходит незаметный, но реальный переход от одного правящего класса к другому или от одного правительства к следующему? При перевороте, совершенном легально, отсутствует свойство конституционного разрыва. А при внезапной смене (вне зависимости от того, были кровавые столкновения или нет) одного правителя на другого, без перехода из дворца в тюрьму, конституциональные изменения не происходят.

И совсем необязательно догматически отвечать на эти вопросы. Определения не бывают истинными или ложными, а лишь более или менее полезными или подходящими. И не существует (если только не где-то на небесах) вечной сущности революции: это понятие служит нам для того, чтобы уловить некоторые явления и уложить их в своей голове.

Нам кажется разумным приберечь термин «Государственный переворот» либо для изменения конституции, объявленного незаконно обладателем власти (Наполеон III в 1851 году), либо захвата государства группой вооруженных людей вне зависимости от того, повлек ли за собой этот захват (кровавый или нет) приход к власти другого правящего класса иного режима. Революция включает в себе больше, чем «уйди прочь, а я займу твое место». Наоборот, приход Гитлера остается революционным, хотя его законно назначил канцлером президент Гинденбург. Применение жестокости последовало быстрее, чем то, что предшествовало приходу к власти, и сразу же стало недоставать некоторых юридических особенностей революционного феномена. С точки зрения социологии обнаруживаются главные особенности: осуществление власти меньшинством, которое безжалостно устраняет своих противников, создание нового государства, мечта преобразовать нацию. Такие словесные споры, сведенные к самим себе, имеют лишь скромное значение, но очень часто вербальная дискуссия вскрывает глубину споров. Вспоминается, что в Берлине 1933 года борьба мнений, так любимая французами, относилась к теме: это была революция или нет? Они благоразумно не задавались вопросом, можно ли было при этой кажущейся или законной маскировке обращаться к прецедентам Кромвеля или Ленина. Скорее, они с яростью отрицали, как это сделал один из моих собеседников во Французском обществе философии в 1938 году, что благородный термин «Революция» можно применить к таким прозаическим событиям, как те, которые произошли в Германии в 1933 году. И однако, требуется ли что-то большее, чем изменения людей, правящего класса, конституции, идеологии?

Какой ответ дали французы Берлину в 1933 году на один такой вопрос? Одни могли бы ответить, что законность назначения 30 января, отсутствие волнений на улицах представляли собой большую разницу между становлением Третьего рейха и республики 1792 года или коммунизма в 1917 году. В конце концов, неважно, как распознать два типа одного или двух различных видов.

Другие отрицали, что национал-социализм совершил революцию, потому что они считали его контрреволюционным. Мы вправе говорить о контрреволюции, когда восстанавливается старый режим, когда к власти возвращаются люди из прошлого, когда идеи или институты, которые новые революционеры принесли с собой, устранили вчерашние революционеры. Есть еще множество крайних случаев. Контрреволюция никогда полностью не является реставрацией, и всякая революция отрицает только часть предшествующего ей и поэтому представляет несколько свойств контрреволюции. Но ни фашизм, ни национал-социализм не являются полностью или в основном контрреволюционными. Они воспользовались несколькими форму-

лами консерваторов, особенно аргументами, которые те использовали против идей 1789 года. Но национал-социалисты ополчились на религиозные традиции христианства, на общественные традиции аристократии и буржуазного либерализма: «немецкая вера», управление массами, принцип вождя являются чисто революционными смыслами. Национал-социализм не замечен в возврате к прошлому, он порывал с другим таким же радикальным явлением, как коммунизм.

На самом деле, когда говорят о революции, когда задаются вопросом, какой именно внезапный и жестокий захват власти достоин вхождения в храм, где восседали на троне 1789 года во время Июльской революции «десять дней, которые потрясли мир», более или менее осознанно ссылаются на две идеи: революции, которые наблюдаются во множествах стран – кровавые, обычные, не оправдывающие надежд, – не относятся к революции при условии, что они ссылаются на идеологию левых, гуманистическую, либеральную, эгалитарную, они совершаются только при условии завершения разрыва существующих отношений к частной собственности. В историческом плане обе эти идеи являются обычными предрассудками.

Всякое внезапное и жестокое изменение режима приводит к разрушению судеб и к несправедливому краху состояний, ускоряет движение имущества и элит, но не обязательно убирает новую концепцию права собственности. В соответствии с идеями марксизма устранение частной собственности на средства производства составляет основную идею революции. Но ни в прошлом, ни в наше время крушение тронов или республик, захват государства активным меньшинством не всегда совпадали с потрясением юридических норм.

Нельзя считать неразделимыми жестокость и ценности левых: обратное больше приблизило бы нас к правде. Революционная власть есть по определению власть тираническая. Она осуществляется вопреки законам, она выражает волю более или менее многочисленной группы, она остается равнодушной к той или иной части народа. Тираническая фаза продолжается достаточное время в зависимости от обстоятельств, но ей никогда не удастся создать экономику – или, более точно, когда тирании удастся избежать, то начинаются реформы, а не революция. Взятие и осуществление власти насильем предполагает конфликты, которые не удастся разрешить ни переговорами, ни компромиссом, или, другими словами, происходит поражение демократических процедур. Революция и демократия есть понятия противоречивые.

Отныне одинаково неразумно осуждать или воодушевлять идеями революций. Люди и группы, будучи таковыми, как они есть – упорствующими в защите своих интересов, рабами действительности, редко способны на жертвы даже тогда, когда эти жертвы обеспечат будущее. Они скорее склонны колебаться между сопротивлением и уступками, чем мужественно выбрать решение (Людовику XVI не удалось встать во главе своих армий, чтобы увлечь за собой крайних реакционеров или сторонников компромисса), – революции, вероятно, останутся неотделимыми от развития общества. Слишком часто правящий класс предаёт общность, за которую он несет ответственность, отказывается понять требования нового времени. Реформаторы времени Мэйдзи<sup>11</sup>, Кемалю Ататюрку изгнали отживший правящий класс, чтобы обновить политический и общественный порядок. Они не смогли бы выполнить свое дело в короткий срок, если бы не расправились с оппозицией и не навязали силой те принципы, которые большая часть нации должна была отвергнуть. Правители, которые отбрасывают традиции и законность для того, чтобы модернизировать свои страны, не все являются тиранами. Петр Первый, император Японии были законными правителями, когда они взялись за задачу, сравнимую с задачей Кемалю Ататюрку и, с другой стороны, с задачей большевиков.

---

<sup>11</sup> Император Муцухито Мэйдзи (1852–1912) сделал из отсталой, изолированной Японии одну из сильнейших стран мира. – *Прим. перев.*

Паралич государства, обветшалость элит, застарелость институтов власти делают иногда неизбежной, иногда желательной необходимостью прибегнуть к жестокости меньшинства. Человек разумный, особенно человек левых взглядов, должен был бы предпочесть терапию хирургии и реформы – революции, так же как он должен отдавать предпочтение миру перед войной и демократии перед деспотизмом. Революционное насилие может ему иногда показаться сопровождением или необходимым условием изменений, соответствующих его идеалу. Насилие нельзя назвать благом само по себе.

Опыт, который иногда извиняет применение тирании, показывает также разницу между нестабильностью власти и изменением общественного порядка. Франция XIX века пережила больше революций, но ее эволюционные изменения были не такими быстрыми, как в Великобритании. Более века назад Прево-Парадоль<sup>12</sup> сожалел, что Франция время от времени позволяла себе роскошь революций, но была неспособна провести реформы, о которых договорились бы ее лучшие умы. В настоящее время слово «революция» снова в моде, и кажется, что страна попала в ту же самую колею.

Соединенные Штаты, наоборот, на протяжении двух веков сохранили нерушимость своей конституции. Она для них с течением времени приобретает некоторый священный смысл. Тем не менее американское общество не перестает постоянно и быстро трансформироваться. Экономический прогресс, общественное перемешивание происходило без потрясений в рамках конституционных структур. А некогда аграрные республики стали самой мощной индустриальной державой мира без изменений в законодательстве.

Колониальные цивилизации, вероятно, подчиняются другим законам, чем цивилизации с долгой историей на небольшой части суши. Конституционная неустойчивость есть скорее признак болезни, чем здоровья. Режимы, являющиеся жертвами народных восстаний или государственных переворотов, демонстрируют при своем крушении не моральные пороки – они чаще бывают более гуманными, чем победители, – но политические ошибки. Они были неспособны либо предоставить место оппозиции, либо сломить сопротивление консерваторов, либо дать дорогу реформам, способным успокоить недовольных или удовлетворить честолюбивых. Такие режимы, как в Великобритании или в Соединенных Штатах, пережили ускорение истории, продемонстрировали высшую добродетель, созданную одновременно из постоянства и гибкости. Они сохранили традиции, обновляя их.

Прогрессивные интеллектуалы наверняка признали бы, что рост числа государственных переворотов в странах Южной Америки является признаком кризиса и искажением прогрессистского духа. Может быть, они сознались бы, хоть и не без брезгливости, что конституционная непрерывность в течение XVIII века была для Великобритании или США большой удачей. Охотно можно было бы признать, что приход к власти фашизма или национал-социализма доказывает, что те же самые средства – насилие, всемогущество одной партии – не плохи и не хороши сами по себе, но могут привести к ужасающим результатам. Можно было бы поддержать надежду или стремление к революции только подлинной, той, которая не имела бы в виду замену одной власти на другую, но намеревалась бы ниспровергнуть или по крайней мере очеловечить все власти.

К сожалению, в истории нет примера революции, соответствующей пророчеству марксизма или гуманистическим надеждам. Революции, которые совершались, относились к уже описанным типам: первая русская, Февральская, революция, отмеченная крахом династии, подорванной противоречиями между традиционным абсолютизмом и прогрессом идей, истощенной неспособностью царя и последствиями нескончаемой войны. Вторая русская, Октябрьская, революция – это захват власти партией решительного вооруженного меньшинства вследствие дезорганизации государства и стремления народа к миру. Немногочисленный рабочий

---

<sup>12</sup> Прево-Парадоль (1829–1870) – французский журналист, член Французской академии, историк. – *Прим. перев.*

класс принял важное участие особенно во второй революции, в гражданской войне, в вооруженных действиях против крестьян, решительно настроенных против революции. В Китае еще более малочисленный рабочий класс не был главной силой коммунистической партии. Ее корни были в деревне, там она рекрутировала солдат, там готовила свои победы: кадры для партии чаще поставляли интеллектуалы, чем рабочие заводов. Шествие социальных классов, по очереди несущих факел революции, не больше чем исторические картинки для детей.

Революция типа марксистской так и не была совершена, потому что сама ее идея была мифической: ни развитие производительных сил, ни «созревание» рабочего класса не готовят крушение капитализма рабочими, сознающими свою миссию. Революции, которые ссылаются на пролетариат, как и все революции прошлого, связаны с жестокой заменой одной элиты на другую. И они не представляют никакой особенности, которая позволила бы обозначить их как конец предыстории.

### Притягательность революции

Великую революцию во Франции считают национальным наследием. Французы любят слово «революция», поскольку они тешат себя иллюзией продлить или возродить былое величие.

Писатель Франсуа Мориак, который вспоминает неудавшуюся «христианскую и социалистическую революцию», на следующий день после освобождения уклонился от требований доказательства и уточнения. Но само это выражение вызывает эмоции, воспоминания или мечты, но ничто не может ее определить.

Совершенная реформа кое-что меняет. Кажется, что революция способна все изменить, хотя неизвестно, что она изменит. Для интеллектуала, ищущего в политике развлечения, предмет веры или тему для размышлений, реформа скучна, а революция действует возбуждающе. Одна прозаична, другая поэтична. Одна происходит как творение функционеров, а другая – творение народа, восставшего против эксплуататоров. Революция прерывает обычный порядок и заставляет думать, что наконец-то все возможно. Полуреволюция 1944 года оставила у тех, кто ее пережил (с правильной стороны баррикад), ностальгию по временам, связанным с надеждой. Они сожалеют о лирической иллюзии и не решаются ее критиковать. *Другие* – люди, события, Советский Союз или Соединенные Штаты Америки – именно они ответственны за разочарования. Увлеченные идеями и безразличные к институтам, критикующие без всякого снисхождения к частной жизни, но бескомпромиссные в политике и к разумным рассуждениям, французы по преимуществу являются революционерами на словах, но консерваторами на деле. Но миф о революции не ограничивается Францией и французскими интеллектуалами. Мне кажется, что он пользуется большим авторитетом, чаще заимствованным, чем первородным.

Сначала они пользуются преимуществами *притягательности эстетического модернизма*. Художник обвиняет обывателя, марксист – буржуазию. Они могли бы считать себя соратниками в битве против одного и того же врага. Художественный и политический авангарды иногда мечтали о совместном приключении ради того же самого освобождения.

На самом деле, в XIX веке объединения двух авангардистских течений происходили не чаще, чем их расхождения. Никакая из больших литературных школ не была в качестве таковой связана с левой политикой. Виктор Гюго, отягощенный годами и славой, в конце жизни официально воспевал демократию; прежде он, правда, восхвалял упраздненное прошлое и никогда не был революционером в современном смысле этого слова. Среди самых крупных писателей некоторые были реакционерами (Бальзак), другие убежденными консерваторами (Флобер). «Проклятые поэты» были не кем иным, как революционерами. Импрессионисты в

столкновении с академизмом вовсе не мечтали о том, чтобы привлечь к ответственности общественный порядок и рисовать голубей для сторонников торжества социальной революции.

Со своей стороны социалисты, теоретики или практики, не всегда примыкали к системе ценностей литературного или художественного авангарда. Леон Блюм на протяжении многих лет, а может быть, даже всей своей жизни рассматривал Порто-Риша<sup>13</sup> как одного из самых крупных писателей своего времени. В литературном авангарде *Revue Blanche* он был одним из немногих, кто склонялся к партии революции. Создатель научного социализма имел в искусстве классический вкус.

И мне кажется, что на следующий день после Первой мировой войны завязался альянс двух авангардов, символом которых во Франции был сюрреализм. В Германии литературные кафе, экспериментальные театры и оригинальные произведения частично были связаны с левыми экстремистами, а часто и с большевиками. И все в один голос заявляли о художественном договоре, об этическом конформизме, тирании денег. Они так же обижались на христианский порядок, как и на капиталистический. Но это единение не было продолжительным.

Через десять лет после русской революции в жертву возрождения неоклассического стиля были принесены архитекторы-модернисты. А еще я слышу Жана-Ришара Блока<sup>14</sup>, заявлявшего с верой новообращенного, что возвращение к колоннам на самом деле ознаменовало художественный упадок, но наверняка и диалектический прогресс. В Советском Союзе лучшие представители литературного или художественного авангарда были устранены до 1939 года. Живопись была выровнена под Салон французских художников пятидесятилетней давности, музыканты должны были множить согласованные ряды и заниматься самокритикой. Тридцать пять лет назад Советский Союз превозносили за смелость, за то, что там интересно работали кинематографисты, поэты и режиссеры, а сегодня на Западе выставляются любимцы современного искусства, включая тех, кто был доведен до нищеты из-за непонимания публики, – и родину революции объявляют очагом истинной реакции.

Прежде Луи Арагон прошел путь от сюрреализма до коммунизма и стал самым дисциплинированным из активистов, готовый или «ругать», или «воспевать» французскую армию. Бретон остался верным своей молодости и всеобщей революции. Обращаясь к академизму и буржуазным ценностям, Советский Союз устранил разницу между освобождением духа и всемогуществом партии. Но к какому историческому понятию следует примкнуть, когда обе «реакции» противостоят друг другу? Из-за этого писатель был доведен до одиночества или сектантского существования. Художник имеет возможность вступить в партию и пренебречь социалистическим реализмом.

Объединение двух авангардов происходило по недоразумению или в связи с исключительными обстоятельствами. От неприятия конформизма присоединились к партии бунтовщиков, но завоеватели редко пользуются победой. Правящий класс, появившийся после потрясения, жаждет стабильности и уважения. Он любит колонны, истинный или ложный классицизм. У него обнаруживается сходство между неважным вкусом викторианской буржуазии и плохим вкусом настоящей советской буржуазии, и та и другая полна гордыни, а их успехи – только материальные. Поколение капиталистов или менеджеров, прошедшее этап первоначальной индустриализации, требовало солидной мебели и импозантных фасадов. Личность Сталина также объясняет крайние формы мракобесия, принятые в Советском Союзе.

Советский Союз, может быть, через несколько десятилетий откроет свободное поприще для исследований Парижской школы. А пока он объявляет искусство декадентским и извращенным, его же потом будет отвергать и Гитлер. Настоящее новшество – это случай Фуже-

---

<sup>13</sup> Жорж де Порто-Риш (1849–1930) – французский поэт и драматург, отразил неизбежность вечной войны между мужчиной и женщиной. – *Прим. перев.*

<sup>14</sup> Жан-Ришар Блок (1884–1947) – французский писатель, драматург, общественный и театральный деятель, антифашист. – *Прим. перев.*

рона<sup>15</sup>: затронутый политической милостью один из художественных авангардистов пытается создать академизм, соответствующий его вере.

*Авторитет морального нонконформизма* происходит из того же самого недоразумения. Группа литературной богемы ощущала свою связь с ультралевыми. Активные социалисты отвергали буржуазное лицемерие. В конце XIX века либертарианские идеи – свободная любовь, право на аборт – были распространены и в среде политически прогрессивных слоев. Подобные пары считали делом чести не представлять перед гражданскими властями, и слово «компаньонка» звучит лучше, чем жена или супруга, в котором ощущалась буржуазность.

«Мы изменили все это». Брак, семейные добродетели превозносятся на родине революции, развод и аборт остаются легальными при некоторых обстоятельствах. Но официальная пропаганда с ними борется, призывает людей подчинять свои удовольствия или страсти превышающим их интересам, интересам самого общества. Бóльшего не могли бы потребовать и традиционалисты.

Историки несколько раз подчеркивали склонность революционеров к добродетели, свойственной как пуританам, так и якобинцам. Эта склонность определяет тип революционеров-оптимистов, которые требуют и от других такой же непорочности. Большевики тоже охотно порицают развращенность. Развратник, с их точки зрения, подозрителен не потому, что он пренебрегает общепринятыми правилами, но потому, что предается порокам, потому, что он слишком много времени и сил посвящает бесполезной деятельности.

Возрождение семьи – это совсем другой феномен. Он отмечает возврат к повседневной жизни, разрушенной навязчивыми политическими идеями. Институты семьи чаще всего выживают в потрясениях государства и общества. Поколебленные крушением старого порядка, эти институты восстанавливаются по мере того, как устанавливается новый порядок и победившие элиты начинают верить в себя и в будущее. Разрыв традиций иногда оставляет наследие освобождения. В Европе авторитарные структуры семьи были частично связаны с авторитарной структурой Государства. Та же самая философия побуждает гражданина признавать избирательное право и право на счастье. Каким бы ни было будущее коммунизма в Китае, большая семья будет там существовать и дальше, как она существовала на протяжении веков. А освобождение там женщин, вероятно, является определенным достижением.

Критика моральных условностей служит связующим звеном между политическим и литературным авангардом, и кажется, что атеизм связывает *метафизику мятежа с политической революцией*. Еще мне кажется, что последняя пользуется заимствованным авторитетом; ее считают виновной в упразднении гуманизма.

Марксизм развился начиная с критики религии, которую Маркс унаследовал от Фейербаха. Человек сравнивается с Богом, перенимая его совершенства, которыми он вдохновляется. Бог вовсе не является создателем человечества, он всего лишь кумир воображения. На этой земле люди должны пытаться достигнуть совершенства, которое они сами спроектировали и которое пока еще ускользает от них. Почему такая критика обязательно должна была привести к революционной необходимости?

Революция не смешивается с сутью действия, она всего лишь условие. Всякое действие на самом деле есть отрицание данного состояния, но в этом смысле реформы не меньшее действие, чем революция. События 1789 года внушили Гегелю одну из идей, которая стала революционным мифом: насилие на службе разума, если только не считать борьбу между классами ценностью самой по себе, усилие, чтобы оторгнуть пережитки и построить общество, соответствующее нормам духа, – это не требует внезапного разрыва с прошлым и гражданской войны. Революция не есть неизбежность или призвание, она – нечто среднее.

---

<sup>15</sup> Фужерон (1913–1998) – живописец, представитель нового реализма во французском искусстве, член компартии Франции с 1939 года. Основные темы полотен – жизнь и социальная борьба французского народа. – *Прим. перев.*

В самом марксизме содержатся три принципа, расходящиеся с революцией: бланкистская концепция взятия власти небольшой группой вооруженных людей, которые, став хозяевами государства, преобразуют ее институты; эволюционная концепция: будущее общество должно «вызреть» внутри существующего общества до того момента, когда последнее охватит окончательный и спасительный кризис; и наконец, принцип перманентной революции: рабочая партия постоянно усиливает давление на буржуазные партии, она использует реформы, на которые соглашаются последние, чтобы «подложить мину» под капиталистический порядок и подготовить одновременно и свою победу, и наступление социализма. Эти три принципа оставляют необходимость существования жестокости, но второй принцип, менее всего соответствующий темпераменту Маркса и лучше согласованный с марксистской социологией, откладывает момент разрыва на неопределенное будущее.

В каждую эпоху конкретно рассматриваемое общество обнаруживает отчетливые элементы времени и стилей, которые легко можно было бы объявить несовместимыми. В Великобритании в наше время существуют монархия, парламент, профсоюзы, бесплатное здравоохранение, воинская повинность, национальные угледобывающие общества, Королевский военный флот. Если исторические режимы совпадали с сутью того, что мы им приписываем, может быть, революция была бы неизбежной, чтобы переходить от одного к другому. Переход от несовершенного капитализма к приблизительному социализму, от аристократического и буржуазного парламентаризма к ассамблеям, где заседают представители профсоюзов и партий народных масс, теоретически не требует, чтобы люди уничтожали друг друга. Это решают обстоятельства.

Исторический гуманизм – человек в поисках самого себя через последовательность режимов и империй – приводит к культуре революции только через догматическое смешение постоянного вдохновения и некоторого технического действия. Выбор методов происходит не из философских размышлений, но из опыта и мудрости, по крайней мере классовая борьба, чтобы выполнить свою историческую миссию, не должна громоздить трупы. Почему примирение всех людей должно происходить вследствие победы только одного класса?

Маркс прошел путь от атеизма до революции с помощью исторической диалектики. Многие интеллектуалы, не желающие ничего знать о диалектике, тоже пойдут от атеизма к революции не потому, что она обещает примирить людей или разрешить тайну истории, а потому, что она разрушает убогий и ненавистный мир. Между литературным и политическим авангардом есть соучастие ненависти, испытываемой против установленного порядка или беспорядка. Революция пользуется авторитетом мятежа.

Слово «мятеж» сейчас в моде, как и слово «нигилизм». Его используют так охотно, что в результате не знают, что оно точно означает. Интересно, подписалось бы большинство писателей под формулой Андре Мальро: «Именно обвиняя жизнь, я нахожу главное достоинство мысли, а всякая мысль, которая оправдывает мир, обесценивается, как только она есть что-то другое, кроме надежды». Конечно, в XX веке легче обвинить мир, чем оправдать его.

Метафизика и мятеж отрицают Бога, существование которого религия и спиритуализм традиционно относили к основам ценности или морали. Метафизика заявляет об абсурдности мира и жизни. Исторически мятеж разоблачает любое общество или современное общество. Мятеж часто приводит к новому обществу, но ни он, ни разоблачение не приводят неизбежно к революции или к ценностям, которые должны воплотить дело революции.

Тот, кто объявляет о судьбе, которую готовит людям мир, лишенный смысла, иногда объединяется с революционерами потому, что негодование или ненависть приводят совсем к другому видению, потому, что разрушение в конце концов успокаивает только разочарованное сознание. Но так же логично, что это рассеет иллюзии, навязываемые неисправимыми оптимистами, которые продолжают бороться с социальными симптомами человеческого несчастья, чтобы не измерять глубину страданий. Такой бунтовщик видит в самом действии результат

бесцельности судьбы, а другой мятежник замечает в нем лишь недостойное развлечение, не желая видеть суетности своего состояния. Триумфально шествующая сегодня партия революции обременяет своим презрением наследие Кьеркегора, Ницше или Кафки, свидетелей буржуазии, которое не утешилось со смертью Бога, потому что оно осознает свою собственную смерть. Революционер, не бунтовщик, обладает превосходством и смыслом: это – историческое будущее.

Бунтовщики, и это правда, восстают против установленного порядка. Они видят только договоренность или лицемерие в большинстве запретов и социальных императивов. Однако некоторые все-таки утверждают ценности, обычно принятые в их среде, тогда как другие восстают против своего времени, но не против Бога или судьбы. Русские нигилисты середины XIX века именем материализма и эгоизма на самом деле присоединились к буржуазному и социалистическому движению. Ницше и Бернанос<sup>16</sup>, – второй, думая, а первый, провозглашая смерть Бога, – являются настоящими нонконформистами. Они оба, один от имени предчувствуемого будущего, а другой – представляя идеализированный образ старого режима, говорят не о демократии, а о социализме, о власти масс. Они враждебны или безразличны к подъему уровня жизни, к развитию мелкой буржуазии, к техническому прогрессу. Они испытывают ужас перед пошлостью, низостью, которые несут с собой электоральные и парламентские практики. Бернанос выдвигает обвинения против безбожного государства, этакий болтливый Левиафан.

Со времени поражения фашизма большая часть интеллектуалов мятежа и революции свидетельствует о безупречном конформизме. Они не порывают с ценностями общества, которое приговаривают. Французские колонисты из Алжира, корсиканские функционеры из Туниса не испытывают уважения к туземным народам и не задумываются о равенстве рас. Но правый интеллектуал во Франции не осмелился бы развивать философию колониализма, так же как русский интеллектуал не развивает теорию концентрационных лагерей. Сторонники Гитлера, Муссолини или Франко вызывают возмущение потому, что они отказались преклоняться перед современными идеями, демократией, равенством людей, классами и расами, экономическим прогрессом, гуманитарностью и пацифизмом. Революционеры 1950-х годов иногда вызывают страх, но никогда не устраивают скандалов.

Сегодня нет ни одного христианина, даже реакционера, который осмелился бы сказать или подумать, что уровень жизни народных масс для него не имеет значения. Христианин левых взглядов – христианин, который выказывает смелость или свободу, менее христианин, чем тот, который согласился поглощать самую сильную дозу идей, популярных в среде профанов. Но христианин-«прогрессист» придерживается идеи изменения режима или улучшения материального благосостояния людей для независимого распространения христианских истин. Послание Симоны Вейль<sup>17</sup> не является левым, само оно – нонконформистское и призывает к истинам, которые уже отвыкли слышать.

Напрасно искать в современной Франции двух настолько разных философов, какими были сторонники старого режима и рационализма. Современные активисты, кроме тех, кто пережил фашизм, являются братьями-врагами. Социализм перенимает основные идеи буржуазии: освоение естественных ресурсов, преобладающая забота о благе и безопасности всех людей, отказ от неравенства рас и положений, религия – личное дело каждого. Советское общество, вероятно, содержит в основе своей системы ценности, противоположные западному обществу, но теперь эти два мира начинают взаимное сближение, чтобы столкнуть свои общие ценности. Борьба мнений о форме собственности и планировании экономики обнаруживает меньше намерений, чем технических средств.

---

<sup>16</sup> Бернанос (1888–1946) – писатель, участник Первой мировой войны, католик, монархист. Выступал противником буржуазного мышления, которое, как он считал, привело Францию к падению в 1940 году. – *Прим. перев.*

<sup>17</sup> Симона Вейль (1909–1943) – философ, сторонница марксизма, троцкизма. В 1938 году порвала с идеями социализма и стала христианкой. – *Прим. перев.*

Мятежники или нигилисты упрекают в современном мире одних за то, что они есть такие, какие они есть, а других за то, что они неверны самим себе. Вторые сегодня более многочисленны, чем первые. Самая живая полемика развязалась не между одними и другими, но между интеллектуалами, согласными с сутью дела. Но, чтобы разорвать друг с другом, им не надо иметь противоположные цели, достаточно, чтобы они расходились во мнении о священном слове «революция».

## Бунт и революция

Обмен письмами и статьями между Альбером Камю, Жан-Полем Сартром и Фрэнсисом Шансоном<sup>18</sup> сразу же принял характер знаменитой ссоры. У нас нет намерений отмечать их выпады или подчеркивать неправоту, мы пытаемся уловить преломление в сознании каждого великого писателя мифа о революции на протяжении седьмого года холодной войны.

Метафизические позиции собеседников достаточно близки. Бог умер, и мир не дает человеческой аванюре никакого смысла. Без сомнения, анализ нашего положения не в «Бытии и Ничто», не в том, что есть в «Мифе о Сизифе» или в «Чуме» (эти книги Камю не сравнимы между собой). Но там утверждается в совершенно разных стилях одно и то же желание правдивости, тот же отказ от иллюзий или лицемерия, даже то же самое столкновение с миром и вид активного стоицизма. Позиция Сартра по отношению к последним проблемам и позиция Камю не должны были сталкиваться.

Когда они выражают свое одобрение и неодобрение (второе чаще, чем первое), они обнаруживают похожие ценности. Оба они – гуманисты, оба желают облегчения страданий, освобождения угнетенных, оба борются с колониализмом, фашизмом, капитализмом. Когда речь заходит об Испании, Алжире или Вьетнаме, Камю не совершает никакого преступления против прогрессизма. Когда Испания вошла в ЮНЕСКО, он написал замечательное письмо протеста. А вхождение в эту же организацию Советского Союза или советизированной Чехословакии встретил молчанием. И он тоже, в сущности, принадлежит к благонамеренным левым.

По крайней мере его мысли не сильно изменились со времени «Бытия и Ничто». Сартр же не рассматривает историю как становление разума. Он не призывает ни к какой революции, к ее онтологическому смыслу. Бесклассовое общество не решит тайну нашего предназначения, оно не примирит ни сущность и существование, ни людей друг с другом. Экзистенциализм Сартра исключает веру во всеобщность истории. Каждый погружен в историю и выбирает свой проект и своих соратников вместе с риском ошибок. Камю легко подписался бы под такими предложениями.

Но почему же разрыв? Кажется, есть единственный вопрос, по поводу которого в западном мире навсегда расстанутся братья, товарищи и друзья: какое положение занять по отношению к Советскому Союзу и к коммунизму? Диалог принимает патетический накал не тогда, когда собеседники имеют что-то одно заданное, а другие отказывают им во вступлении в партию Ленина, Сталина или Маленкова. Достаточно того, что не-коммунисты по-другому объясняют их отказ присоединиться к партии, что одни называют себя не-коммунистами, другие антикоммунистами, что одни обвиняют Ленина в то время, как другие со всей суровостью обрушиваются на Сталина из-за того, что в СССР уничтожаются люди, они считают себя его беспощадными врагами.

Во время полемики Жан-Поль Сартр еще не совершил путешествия ни из Вены, ни из Москвы. Он мог еще писать: «Будь я подводник, шифровальщик или стыдливый симпатизант, откуда вы знаете, что это меня они ненавидят, а не вас? Мы не собираемся перевозить ненависть, которую вызываем. Я вам честно говорю, что сожалею о такой враждеб-

---

<sup>18</sup> Фрэнсис Шансон (1922–2009) – журналист, философ. – *Прим. перев.* Les temps modernes, аout 1952, № 82.

ности, иногда я начинаю завидовать вам из-за глубокого безразличия, которое они к вам питают»<sup>19</sup>. Он совершенно не отрицал жестокостей советского режима, концентрационных лагерей. Время *Rassemblement Democratique Revolutionnaire* (RDR) – Революционно-демократическое ралли<sup>20</sup>, – это время отказа двух блоков и усилия, чтобы начертать третий путь, еще продолжалось достаточно долго. Камю заявлял не менее ясно, чем Сартр, о колониальной эксплуатации или позоре франкизма. Они оба, свободные от всяких партий, тут и там обвиняют все, что, по их мнению, достойно обвинения. Но в чем же разница? Говоря просто, ответ будет такой: Камю выбрал бы скорее Запад, а Сартр – Восток<sup>21</sup>. Говоря на уровне политической мысли, Сартр упрекает Камю в том, что тот объявляет себя в неучастии: «Вы порицаете европейский пролетариат потому, что он публично не осудил Советы, но осуждаете также правительства Европы, поскольку они одобряют вступление Испании в ЮНЕСКО; в таком случае я вижу для вас только одно решение: Галапагосские острова». Предположим, что желание удерживать равновесие и заявить с той же суровостью о несправедливостях, которые, конечно же, существуют в обоих мирах, не приводит ни к какому чисто политическому действию. Камю не был человеком политики. Сартр тоже, и оба они действуют пером. Каково же альтернативное решение о Галапагосских островах после конца RDR? «Мне кажется, наоборот, единственный способ прийти на помощь рабам там – это вступить в их партию здесь».

Это рассуждение напоминает высказывание реакционеров или пацифистов во Франции между 1933 и 1939 годами, которые упрекали людей левых взглядов за то, что они выпускали манифесты и собирали публичные демонстрации в защиту преследуемых евреев. «Занимайтесь лучше вашими делами, – говорили они, – и не выносите сор из дома. Лучший способ прийти на помощь жертвам Третьего рейха – это уменьшить страдания жертв кризиса, колониализма или империализма». На самом деле, такое рассуждение – фальшивое. Ни Третий рейх, ни Советский Союз не были полностью безразличны к мировому мнению. Протесты еврейских организаций мира, вероятно, внесли вклад в ослабление антисемитской кампании и к мерам против космополитов, под прикрытием которых евреев с другой стороны железного занавеса снова стали преследовать. Широкая пропаганда в Европе и Азии против сегрегации в Соединенных Штатах помогает тем, кто пытается улучшить условия жизни негров и предоставить им права, обещанные Конституцией.

Оставим реальные результаты этих двух позиций. Почему различие, по-видимому, в нюансах вызвало столько страстей? Сартр и Камю – не коммунисты и не «атлантисты», оба признают существование несправедливости в обоих лагерях. Камю хочет разоблачать и одних, и других, Сартр выступает только против одних, западного мира, не отрицая существования других. Наверняка нюанс, но тот, который ставит под сомнение всю философию.

Камю порицает различные аспекты советской реальности. Коммунистический режим кажется ему абсолютно тираническим, который вдохновляет и оправдывает философия. Он упрекает революционеров за то, что они отрицают вечные ценности, всю высшую мораль в классовой борьбе и разнообразии эпох, он обвиняет их за то, что они живых людей приносят в жертву мнимому абсолютному благу, концу истории, понятие о котором противоречиво и в любом случае несовместимо с экзистенциализмом. То, что один *не отрицает*, а другой *разоблачает* концлагеря, было бы почти неважно, если бы один не придавал своему разоблачению значения разрыва с революционным «проектом», тогда как другой отказывается порывать с «проектом», к которому он не примыкает.

В своей книге «Мятежный человек» Камю анализировал идеологическую эволюцию от Гегеля к Марксу и Ленину, нестыковки между некоторыми предвидениями, содержащимися

<sup>19</sup> *Les temps modernes*, аout 1952, № 82, p. 341.

<sup>20</sup> RDR – боевая партия, была основана в конце 1947 года, просуществовав чуть более года. – *Прим. перев.*

<sup>21</sup> При условии, что сам он будет жить на Западе.

в работах Маркса, и течением событий. Анализ не показал ничего такого, чего нельзя было легко обнаружить прежде, но он был в некоторых моментах трудно оспоримым.

Книга Камю, а также «Письмо директору *Temps modernes*» являются уязвимыми. В книге основные мотивы аргументации теряются в плохо связанных между собой исследованиях, стиле написания и морализаторском тоне, почти не позволяя увидеть философскую строгость. Письмо претендовало на то, чтобы заключить экзистенциалистов в рамки очень простых альтернатив. (Сартр имеет все козыри ответить, что марксизм не исчерпывается пророчеством и методикой, но содержит в себе и философию.) Несмотря на все это, Камю ставит этим не меньше решительных вопросов, на которые Сартр и Шансон отвечают с трудом.

– Да или нет, – спрашивал он, – вы признаете в советском режиме исполнение революционного «проекта»?

Однако честный и одновременно смущенный ответ Фрэнсиса Шансона звучит так: «Вовсе не субъективное противоречие мешает мне четко высказаться о сталинизме, а трудности дела, которые, кажется, помогут мне сформулировать мнение: сталинское движение по всему миру не кажется мне подлинно революционным, но оно единственное, которое заявляет о себе как о революционном и собирает под свои знамена, особенно у нас, большую часть пролетариата. А значит, мы одновременно и *против него*, потому что мы критикуем его методы, и *за него*, поскольку мы не знаем, не является ли подлинная революция химерой и не надо ли, чтобы революционная затея сначала прошла свой путь там до того, как сможет наладиться какой-то более человечный социальный порядок, но, если недостатки этого предприятия выявятся в социальном контексте, в итоге будет предпочтительно его просто и честно уничтожить». Не заметно, чтобы Камю пожелал «честно и просто уничтожить затею» (допустим, что эта формулировка имеет смысл). Такое признание неведения похвально, но удивительно со стороны философа по призванию. Поступок в истории требует, чтобы на него решились, ничего не зная твердо, или по крайней мере, чтоб утвердились в решении больше, чем в знании. Всякое действие в середине XX века предполагает и влечет за собой принятие решения относительно советского режима. Устраниться от принятия позиции по отношению к советскому строю – значит избежать ограничения исторического существования, даже если при этом все ссылаются на историю.

Единственным оправданием, писал Камю, захвата власти, коллективизации, террора, тоталитарного государства, построенного именем революции, была бы уверенность подчиниться необходимости торопить исполнение конца истории. Однако экзистенциалисты не смогли бы ни подписаться под этой необходимостью, ни поверить в конец истории. На это Сартр отвечает: «Имеет ли история смысл, спрашиваете вы, имеет ли она конец? Для меня этот вопрос не имеет смысла, так как история вне человека, который ее делает, всего лишь абстрактное и застывшее понятие, о котором нельзя сказать ни как о конце, ни о том, что она его не имеет, и проблема состоит не в том, чтобы *знать* свой конец, а в том, чтобы *дать* его истории... Нет спора о том, существуют или нет высшие ценности истории: они просто замечают, что *они у нее есть*, они провозглашаются посредством человеческих поступков по историческому определению... И Маркс никогда не говорил, что история будет иметь конец: как он мог это сделать? Ведь тогда человек однажды останется без целей. Он только говорил о конце предыстории, то есть о цели, которая будет достигнута в рамках самой истории и будет преодолена, как и все цели». Таков ответ, и Сартр его знает лучше, чем кто-либо, несколько пренебрегая правилами честной дискуссии. Нет сомнений, что мы придаем смысл истории своими действиями, но как выбрать этот смысл, если мы неспособны определить универсальные ценности или понять их в целом? Решение не относится ни к вечным правилам, ни к универсальным ценностям и исторической всеобщности, а является случайным, и не оставляет ли оно людей и классы в состоянии войны без того, чтобы потом решить проблему между воюющими?

Гегель утверждал соответствие между диалектикой понятий и исторической последовательностью империй и режимов, Маркс со своим бесклассовым обществом заявлял о решении тайны истории. Сартр не может, не хочет возобновить в онтологическом смысле понятие конца истории, связанного с абсолютным разумом. Но в нем он воспроизводит, в политическом плане, эквивалент. Однако, если История есть конец предыстории, социалистическая революция должна представлять собой существенное своеобразие по сравнению с прошлым, должна отметить собой разрыв течения времени, преобразование общества.

Сартр заимствует, говорит он нам, у марксизма, между пророчеством и методикой, некоторые чисто философские истины. Эти истины, появляющиеся в текстах молодого Маркса, кажутся мне критикой формальной демократии, анализом отчуждения и утверждения срочной необходимости разрушить капиталистический порядок. Эта философия, возможно, содержит пророчество: пролетарская революция будет совершенно другой по сравнению с революциями прошлого, только она позволит «очеловечить» общество. Эта хрупкая версия не является грубой, рассчитанной на концентрацию предприятий и пауперизацию масс, которую отвергли события XIX века. Но она остается абстрактной, формальной, неопределенной. Но в каком смысле захват власти одной партией означает конец предыстории?

Резюмируя, можно сказать, что эта мысль лишена новизны. В местах, которые вызвали гнев *Temps modernes*, она кажется банальной и благоразумной. Если мятеж обнаруживает солидарность с угнетенными и необходимость жалости, революционеры сталинского типа на самом деле предадут сам дух мятежа. Вынужденные подчиняться законам истории и действовать для приближения конца, одновременно и неизбежного, и благотворного, они затем становятся бессовестными палачами и тиранами.

Из этих рассуждений невозможно извлечь никакого правила поведения, но критика исторического фанатизма побуждает нас выбирать из множества обстоятельств, в зависимости от случайности и опыта. Скандинавский социализм не является универсальной моделью и не претендует на это. Такие понятия, как призвание пролетариата, повторное отчуждение, революция, точно свидетельствуют, кроме того, об их притязании: боюсь, что они сделают еще меньше для того, чтобы ориентироваться в пространстве XX века.

За пределами Франции и аристократического квартала Сен-Жермен-де-Пре такую полемику мало кто поймет. Ни интеллектуальные, ни социальные возможности этой полемики не заданы ни в Великобритании, ни в США, где диспуты проходят без безумных страстей о социологии и экономике Маркса, где спорят о важных делах, отмечающих этапы развития науки. Они безразличны к философии Маркса, как начальной, так и зрелой, а также к критике товарфетиш Гегеля, более естественной в других текстах и сочинениях Энгельса. С тех пор как они отстранились от гегельянства, вопрос о соответствии советской революции истинной *революции* теряет всякий смысл. Революционеры во имя идеологии создали определенный режим. Мы знаем о нем достаточно хорошо, чтобы не желать его дальнейшего распространения. Этот отказ не обязывает нас желать ни «честного и простого уничтожения затеи», ни борьбы пролетариата, ни мятежа угнетенных.

Согласие с существующим несовершенным режимом, следовательно, делает нас согласными с несправедливостью и жестокостью, от которых не избавлено никакое время и никакая страна. Настоящий коммунист – это тот, кто соглашается с советской реальностью в том контексте, который эта реальность диктует. Настоящий западный человек – это тот, кто полностью согласен с нашей цивилизацией только в смысле свободы, которая позволяет ему критиковать и дает шанс улучшить свою жизнь. Объединение части рабочих в коммунистическую партию сильно влияет на ситуацию, в которой французский интеллектуал должен выбирать. Неужели революционное пророчество, провозглашенное столетие назад одним молодым философом, восставшим против сонной Германии и ужасов первых лет индустриализации, поможет нам

понять ситуацию и сделать разумный выбор? А мечтать о революции – это способ изменить Францию или бежать из нее?

### **Является ли ситуация во Франции революционной?**

Говорят ли французские интеллектуалы о желании революции – христианской, социалистической, голлистской, коммунистической, экзистенциальной, – потому что они более чувствительны к содроганиям истории, потому что они чувствуют наступление времени великих катаклизмов?

В течение двух лет, предшествовавших Второй мировой войне, этот вопрос был актуален. Но при этом немедленно добавляли, что гитлеровская угроза запретила французам – нет, не ссориться – в этом ничего не смогло бы им помешать, но сразу же контролировать их ссоры и силой. Освобождение сопровождалось квазиреволюцией, которую сторонники и противники согласились считать неудачной. В 1950 году во Франции неоднократно задавались вопросом: не находимся ли мы накануне социального взрыва, имея 50% избирателей коммунистов или сторонников де Голля, теоретически враждебных режиму? Через несколько лет консерватизм казался чуть более стабильным, но не поддержанным слабыми попытками экстремизма или воинствующими заявлениями.

Франция узнала, что такое псевдореволюции, в 1940 и 1944 годах, завершение которых означало возврат к институтам, людям и к практике Третьей республики. Поражение заставило парламент подписать в июле 1940 года акт об отречении. Составная команда – несколько перебежчиков из республиканского сектора смешались с доктринерами от правых сил или молодыми людьми, жаждущими действовать, – попыталась установить авторитарный, но не тоталитарный режим. Освобождение ликвидировало эту попытку и привело к власти другую команду, такую же составную в смысле кадров и идей. Против Виши эта команда ссылалась на республиканскую легальность, то завязывая отношения с последним правительством вчерашнего режима, то взывая к национальной воле, воплощенной в Сопротивлении. Чаще всего заявляли о своей исходной революционности и замысле: она обосновывала свою легитимность не на выборах, но на чем-то типа мистических полномочий – народ узнавал себя в одном человеке, – освобождение намеревалось обновить государство, а не только восстановить республику.

Революция исчерпала себя в очищении, реформы, называемые структурными (национализация), предлагались в программах Народного фронта, и, наконец, некоторые законы (общественная безопасность) продолжили предшествующую эволюцию и не требовали потрясений. Что касается текстов и конституционной практики, традиции, или, лучше сказать, дурные привычки, с легкостью взяли верх над попытками возрождения. Парламент и партии Четвертой республики показали, что они так же ревностно относятся к их исключительному праву и так же враждебны к сильной исполнительной власти, как парламент и партии Третьей республики. В 1946 году все партии, и особенно три крупные, обвинялись в монолитности. В 1946–1947 годах радикальные и умеренные объединились против них, извлекая выгоду из популярности, которой обладал генерал де Голль, и непопулярности, которую вследствие инфляции и плохого социального положения связывали с министрами Временного правительства. Сегодня менее монолитные партии, кроме коммунистической, на большинстве выборов разъединились. Монолитность была теперь не большим реальным злом, чем раздоры внутри партий, чего нет сегодня.

По традиции парламентская демократия во Франции отличается слабостью исполнительной власти, способностью Национального собрания против своей воли поддерживать нестабильные и непоследовательные правительства. Поражение и освобождение создали возможность ниспровергнуть эту традицию. Когда генерал де Голль попытался использовать вторую

возможность, он потерпел поражение. То, что эти внешние события позволили, французская политика, предоставленная самой себе, не допустит.

Можно считать, что поражение Ралли (RDR) произошло прежде всего из-за тактических ошибок. Если «освободитель» оставался у власти в 1946 году и становился во главе движения против первой Конституции и еще если несколько месяцев после его отставки, он вступил в борьбу накануне первого референдума, победа, одержанная без него против блока социалистов-коммунистов, могла бы считаться его победой. Он мог бы навязать Конституцию, отличную от той, которая была бы одобрена на втором референдуме. Может быть, в 1947–1948 годах после муниципальных выборов, а также после выборов в законодательные органы июня 1951 года, если бы согласились на объединение списков кандидатов, можно было бы если не добиться безусловной власти, то создать министерство и провести реформы. Надо было допустить невероятную оплошность, чтобы привести к распаду 1952 года. А предпочел бы президент RDR в глубине души беспорное поражение сомнительному успеху? Ограниченная власть, которой он мог добиться, позволила бы ему только частичные, обманчивые меры: протест, отсутствие ответственности оставляют, может быть, самые яркие воспоминания.

Но недоразумение с самого начала скомпрометировало попытку. Разом избавившись от страха перед коммунизмом, большинство избирателей, общественники и даже избранные голлисты пожелали правительство, аналогичное правительству Раймона Пуанкаре. Руководители были более амбициозными, чем массы. Они отказывались от компромисса, который последние наверняка одобрили бы.

Каковы бы ни были события, способствовавшие поражению революций 1940 и 1944 годов, неудача RDR объясняется действием консервативных сил. Французы были недовольны, но не хотели выходить на улицы. Трудности со снабжением, инфляция вместе с угрозой коммунизма с 1946 по 1948 год усиливали недовольство масс. Начиная с 1949 года население стремилось обрести привычный образ жизни. Рабочие промышленных предприятий в большинстве своем были враждебны режиму, который лишил их привычного уровня жизни и морального участия в сообществе, на которое они рассчитывали. Политическая среда рабочих, вступление в коммунистическую партию руководителей профсоюзов поддерживают атмосферу классовой борьбы, не провоцируя неминуемого восстания.

Революции чаще возникают от отчаяния или надежды, чем от неудовлетворенности своим положением. Давление, которое испытывает Франция из-за рубежа, делает взрыв еще менее вероятным. В парламентской игре правые извлекают выгоду из электоральных сил коммунистической партии. Если бы она не подчинялась Москве и если бы она честно сотрудничала с социалистами, Народный фронт заставил бы взорвать консервативную республику, которая обязана своему возрождению при явном парадоксе ненавистному врагу.

По крайней мере в самом ближайшем будущем было две тактики, между которыми революционеры должны были выбирать – отвлечь рабочих от влияния коммунистов или создать совместный фронт (национальный или народный) левых сил, коммунистов или объединенных не-коммунистов, одна тактика отнюдь не лучше другой. Сила партии коммунистов соответствует слабости социалистической партии. Когда последняя начинает терять свою активность и сторонников из рабочих рядов, ей удастся объединить значительную часть пролетариата, и эти два явления взаимосвязаны, но, скорее, первое – это причина, а второе – следствие. Но как выбраться из порочного круга? Какие необыкновенные реформы оторвали бы миллионы избирателей левого толка от партии, в которой они черпают надежду? Сомнительно, что достаточно энергичного премьер-министра и развития экономики, чтобы социальный климат вдруг бы изменился. По крайней мере для этого необходимо время.

Защищаемый «сталинизацией» рабочего движения от революции левых сил, оберегаемый слабостью социалистической партии от нетерпения, связанного с реформами, французский консерватизм был защищен до настоящего времени атлантической солидарностью против

последствий его собственных ошибок. С 1946 по 1949 год американская помощь позволила не применять драконовских мер, которые потребовал кризис из-за отсутствия внешней поддержки. Интеграция в международную систему, какой бы необходимой она ни была, рискует подавить волю к проведению реформ.

С точки зрения многих наблюдателей в 1946 году (я был одним из них), парламентаризм, существовавший во Франции, казался странным образом неподходящим к холодной войне, к коммунистическому расколу, к требованиям наполовину управляемой экономики. Не стоит забывать о положении Франции в мире. Начиная с «македонской гегемонии»<sup>22</sup> власти больше не заботились об улучшении институтов в Афинах. В этой части империи Александра Македонского или Римской империи, в этом славном городе перестала существовать политическая жизнь.

Такое сравнение справедливо лишь частично. Соединенные Штаты, не обладающие большими талантами, не желают создавать собственную гегемонию. В Европе и Африке Франция сохраняет свою чисто политическую ответственность. Приход к власти Мендес-Франса и сенсационные события в Северной Африке сказались на последствиях американского отказа содействовать Франции в Индокитае. Поражение в Дьенбьенфу<sup>23</sup> вызвало в парламенте отставку сторонников войны.

Как могло случиться, что с 1930 по 1939 год не было возмущений против слабости и слепоты правительства Франции? Накануне войны уровень промышленного производства оставался на 20% ниже уровня 1929 года. Французская армия в 1940 году вынуждена была практически одна противостоять немецкой армии. За десять лет, совершив целую серию невероятных ошибок, наши правители спровоцировали или пережили упадок экономики и распад системы союзничества.

Нет уверенности в том, что внешняя политика Четвертой республики является лучшей, чем внешняя политика Третьей республики периода ее упадка. Мы отдали наши лучшие силы Индокитаю, той мировой зоне, где у нас нет больше ни интересов, ни возможностей действовать, для многолетней войны, которую мы могли только проиграть, но не выиграть.

В Европе наша дипломатия до 1950 года ухитрилась замедлить восстановление Западной Германии, необходимого и ожидаемого с того момента, когда Россия начала советизацию Восточной Европы, скорее, чтобы воспользоваться ситуацией и скрепить примирение, навязанное обстоятельствами. Начиная с плана Шумана<sup>24</sup> наша дипломатия перешла к другой крайности. Мы слышали, что Италия и страны Бенилюкса собираются создать федеральную республику, что-то типа общего государства. И Федерация Шести становится грандиозной целью, которую провозгласили наши представители. Но как создать Европу, не разрушив Французский союз. И поддержит ли большинство во Франции и в парламенте этот федералистский проект?

Важные решения, от которых зависит мир или война, не принимаются в МИДе на набережной Орсе. Вероятный крах нашей дипломатии больше не повлечет за собой таких катастрофических последствий, как 20 лет назад. До 1939 года французы имели основания быть довольными своими правителями потому, что у них еще была точная цель: избежать войны, не потеряв независимости. Сегодня этого минимума общности интересов больше не существует. Большинство высказывается в пользу Европы с ее еще неопределенными границами и за режим собственной страны. С этого времени, когда речь заходит о Европе с четкими границами – о

---

<sup>22</sup> Власть, установленная македонским царем Филиппом II над всей Грецией в 50–40 гг. IV века до н.э. – *Прим. перев.*

<sup>23</sup> Решающее сражение между французской армией и силами объединенного фронта Вьетнама. Окончилось поражением французов в 1954 году и положило начало прекращению их военного присутствия в Индокитае. – *Прим. перев.*

<sup>24</sup> Министр иностранных дел Робер Шуман предложил 9 мая 1950 года план объединения некоторых отраслей тяжелой промышленности Франции и Германии. Теперь этот день отмечается как День Европы, а Р. Шуман считается одним из основателей Европейского союза. – *Прим. перев.*

Союзе Шести, – о федеральной или псевдофедеральной Европе, французы разделяются так же, как они разделяются по поводу перевооружения Федеративной Республики, освобождения Восточной Европы или реформ в Тунисе или Марокко. Французы согласны строго осудить неспособность режима установить единую политику. Они жалуются, что нет единой воли, но сильно ли они хотят найти ее?

Во внутренней политике первое десятилетие Четвертой республики было лучше, чем последнее десятилетие Третьей республики. Такое суждение, может быть, возмутит либералов, которые делают акцент на падение курса денежной единицы, усиление государственной бюрократии, развитие экономики, даже если оно влечет за собой инфляцию и стагнацию, пусть и сопровождаемую оздоровлением денежной единицы. Точно так же дефляция 1931–1936 годов, при которой необходимо было приложить усилия, чтобы поддержать обменный курс франка, подготовила социальный взрыв 1936 года и экономические ошибки Народного фронта.

И если речь заходит о сельском хозяйстве, промышленности, общественном законодательстве, страна еще меньше справлялась с этим. Не берусь сказать, что промышленное мальтузианство было окончательно устранено, что крестьяне признали необходимость модернизировать культурные процессы. Консервативный дирижизм<sup>25</sup> – защита в соответствии с принятыми интересами, сбой либеральных или административных механизмов, готовых усилить конверсию второстепенных предприятий, – продолжает свою борьбу. Несмотря на все это, поражение, оккупация, квазиреволюция 1944 года изменили многие привычки, сделав французов более снисходительными к изменениям, менее враждебными к рискам.

При улучшении жизнеспособности нации политический режим не является самым лучшим. Правительство более расколото, оно еще более слабое, чем в последние годы Третьей республики, оно в меньшей степени обладает способностью действовать во имя высших целей государства, никто не сможет одобрить Четвертую республику. Но было бы несправедливо говорить о расколе только интеллектуалов, надо говорить о расхождении взглядов французов с Францией, или граждан по отношению к государству. Оцепеневшее общество, идеологическое мышление – эти два явления только на первый взгляд противоречат друг другу, они создают систему. Меньше мыслящих людей присоединяется к реальности, большая их часть мечтает о революции. Но чем больше формируется реальность, тем больше умных людей видят свою миссию в критике и отказе от сотрудничества.

Силы обновления, вызревающие под слоем консерватизма, увеличение рождаемости, модернизация промышленности и сельского хозяйства открывают перспективу на будущее. Интеллектуалы примирились с Францией в тот день, когда страна стала более достойной идеи, которую они в ней видят. Но если это примирение не происходит или происходит очень медленно, взрыв, который революционеры делают желаемой профессией, который политические партии боятся в глубине души и готовят больше всего, взрыв, который внезапно сорвал бы повязку с глаз, стал теперь маловероятным, но возможным. С помощью чего-то типа неписаного закона республики Народное собрание передает свои полномочия одному человеку в тот момент, когда кризис достигает такой степени, что и режим, и парламентские игры становятся под угрозой. Этот закон, продливший дни Третьей республики, кажется, был перенесен и в Четвертую республику. Поражение в Индокитае открыло дорогу министерству Мендес-Франса<sup>26</sup>.

Французы не были такими уже несчастными, чтобы восстать против своей участи. Национальное унижение они приписывали большей частью событиям, нежели людям. Не умеющие желать общего будущего, они пренебрегали надеждой, которая поднимает на бунт толпы. У них никогда не было мудрости обойтись без идеала. Задачи, которые им предстояло выполнить,

---

<sup>25</sup> Политика активного вмешательства в управление экономикой в середине 40-х годов XX века. – *Прим. перев.*

<sup>26</sup> Пьер Мендес-Франс (1907–1982) – левоцентристский политический деятель, премьер-министр и министр иностранных дел в 1954–1955 гг.

их не волновали, если их не преображала какая-нибудь идеология. Идеологии поднимают на борьбу одних людей против других. Люди живут вместе при условии усмирения их противоречивых страстей посредством скептицизма. Скептицизм – вовсе не революционное понятие, даже если он и говорит на языке революции.

\* \* \*

Так же, как понятие «левый», термин «революция» никогда не выйдет из употребления. Он также выражает ностальгию, которая будет длиться до тех пор, пока люди останутся недовольными своим обществом и не пожелают взяться за реформы. Не потому, что желание социального улучшения всегда (или логически) заканчивается желанием революции. Необходима также некоторая доля оптимизма и нетерпения. Революционеры известны ненавистью к миру, желанием катастрофы; чаще всего революционеры грешат излишним оптимизмом. Все известные режимы достойны осуждения, если их сводят к абстрактным идеалам равенства или свободы. И только революция, поскольку она является авантюрой, или революционный режим, потому что он соглашается на перманентное использование насилия, кажутся способными присоединиться к великой цели. Миф о революции служит пристанищем для утопической идеи, он становится мистическим неожиданным посредником между реальным и идеальным.

Само насилие скорее привлекает, завораживает, нежели отталкивает. Лейборизм, «скандинавское бесклассовое общество» никогда не пользовались таким успехом у европейца левых взглядов, особенно у француза, как русская революция, несмотря на гражданскую войну, ужасы коллективизации и большую чистку. Надо говорить «несмотря» или «по причине»? Иногда все происходит так, как если бы цена революции была скорее кредитом, чем дебетом.

Любой человек достаточно разумен для того, чтобы предпочесть мир войне. Это замечание Геродота надо было бы применить и к гражданским войнам. Романтика войны исчезла в болотах Фландрии, а романтика гражданской войны выжила в подвалах Лубянки. Время от времени стоит задаться вопросом, не соединяется ли миф о революции в конечном итоге с фашистским культом жестокости. В последнем акте пьесы Сартра «Дьявол и добрый Бог» один из героев Гетц восклицает: «Вот и начинается царство человека. Прекрасное начало. Пойдем, Насти, я буду палачом и мясником... На этой войне есть что делать, и я это сделаю».

Будет ли царство человека царством войны?

### Глава 3. Миф о пролетариате

Марксистская эсхатология, учение о конце света, отводит пролетариату роль всеобщего спасителя. Выражения, используемые молодым Марксом, не оставляют сомнения в иудео-христианском происхождении мифа о классе, избранном за его страдания для искупления грехов человечества. В миссии пролетариата, конце предыстории благодаря революции, царстве свободы без труда, узнается тысячелетняя идея: Мессия, разрыв традиций, Царство Божье.

Марксизм не пострадал от таких сравнений. Возрождение в какой-то научной форме вековых верований, обольстившее умы людей, оторванных от веры. Миф может показаться прообразом истины, а также современной идеей воплощения мечты.

Восхищение пролетариатом в таком качестве не является универсальным явлением. Скорее всего, в этом можно увидеть знак французского провинциализма. Там, где царствует «новая вера», скорее партия, чем пролетариат, создает объект культа. Там, где есть лейборизм, рабочие заводов, ставшие мелкими собственниками, больше не интересуют интеллектуалов, которые больше не интересуются их идеологией. Улучшение положения рабочих разрушает образ их несчастий и избавляет от попытки насилия.

Говорит ли это о том, что умствования по поводу пролетариата и его призвание отныне ограничиваются только странами Запада, которые колеблются в выборе между притягательностью советского режима и приверженностью к демократическим свободам. Хитроумные споры вокруг пролетариата и партии, которым предоставляют колонки изданий *Temps modernes* и *Esprits*, напоминают те диспуты, которые вели в начале XX века борцы и теоретики в России и Германии. В России они теперь идут по пути, указанному властью, в Германии они обескровлены из-за отсутствия бойцов. Но между странами, обращенными в коммунизм, и западными странами, где развитие производства преобразовало «проклятьем заклеянных» в разумных членов профсоюза, платящих членские взносы, существует еще больше половины человечества, желающих обрести уровень жизни западных стран, но обращающих взор на верящих в коммунизм.

#### Определение пролетариата

Идут горячие споры по поводу точного определения понятия, может быть, самого распространенного в политическом языке этого класса. Но мы не будем вступать в дискуссию, которая в каком-то смысле не содержит вывода. Ничто не доказывает, что существует заранее очерченная реальность и единственный названный класс. Дискуссия еще менее нужна потому, что все знают, кого в современном обществе называть пролетариями: наемных работников, использующих ручной труд на заводах. Почему часто затруднительно дать определение рабочему классу? Никакое определение четко не очерчивает границы этой категории. С какой ступени рабочей иерархии рабочий начинает считаться относящимся к пролетариату? Является ли работник ручного труда в сфере обслуживания пролетарием, хотя он получает свою зарплату у государства, а не у частного предпринимателя? А наемные работники в торговле, которые работают руками с предметами, изготовленными другими? И нам неважны догматические ответы на такие вопросы: не совпадают различные критерии. В зависимости от того, как рассматривать природу ремесла, способ и результат вознаграждения, образ жизни, можно включать или не включать тех или иных работников в категорию пролетариата. Механик в гараже, наемный работник, работающий руками, находится не в том положении и не имеет тех перспектив в обществе, что занятый на монтажном конвейере заводов «Рено». Не существует сути пролетариата, которой обладали бы некоторые наемные работники, есть категория, центр которой определен, но границы размыты.

Эта трудность разграничения не вызвала бы столько яростных споров. Доктрина марксизма приписывала пролетариату единственную миссию – преобразовать историю, говорили одни, преобразовать человечество, говорили другие. Но как миллионы рабочих заводов, рассеянные на тысячах предприятий, могут стать предметом такого предназначения? И откуда второе исследование, не о разграничении, но о единстве пролетариата?

Не стоит труда утверждать, что между работниками ручного труда в промышленности существуют общие черты, и материальные и психологические: рост доходов, распределение трат, образ жизни, отношение к профессии или к работодателю, ощущение ценностей и т. д. Эта общность, объективно вполне уловимая, является лишь частичной. Французские пролетарии с некоторых сторон отличаются от пролетариев английских и похожи на своих соотечественников. У пролетариев, живущих в деревнях или в маленьких городках, может быть больше общего со своими соседями, чем с рабочими больших городов. Другими словами, однородность пролетарской категории, по всей очевидности, несовершенна, и еще она, вероятно, более ярко выражена, чем однородность у других слоев общества.

Эти простые замечания объясняют, почему между пролетариатом, который изучает социологию, и пролетариатом, имеющим миссию преобразовать историю, неизбежно имеется различие. И чтобы заметить это различие, модный сегодня метод заключается в обращении к марксистской формулировке: «Пролетариат станет или не станет революционным». «Именно отказываясь от своего отчуждения, пролетариат становится пролетариатом» (Фрэнсис Шансон)<sup>27</sup> «Единство пролетариата – это его отношения с другими классами общества, короче, это его борьба» (Ж.-П. Сартр)<sup>28</sup>. Начиная с того момента, когда он определяется своим главным стремлением, пролетариат приобретает субъективное единство. Неважно количество физических пролетариев, участвующих в этом стремлении: борющееся меньшинство легитимно воплощает весь пролетариат в целом.

Значение, которое Тойнби<sup>29</sup> извлекает из слова, вызывает новую двусмысленность. Промышленный рабочий – это только пример, один среди тех людей, многочисленных в эпоху распада, которые чувствуют себя чужими в существующей культуре, бунтуют против установленного порядка и восприимчивы к призывам пророков. В античном мире рабы и изгнанники слушали голоса апостолов. Среди рабочих промышленных предместий марксистская проповедь собрала миллионы приверженцев: безработные тоже пролетарии, такие же как полуварварские народы, живущие на периферии цивилизации.

Мы оставим в стороне последнее определение, согласно которому самое сосредоточенное национальное меньшинство больше заслужило бы звание пролетариата, чем промышленные рабочие. И наоборот, определение Жан-Поля Сартра приводит нас к основной теме. Но почему пролетариат имеет уникальную миссию в истории?

Выбор пролетариата отражен в текстах молодого Маркса знаменитыми формулировками: «Класс, скованный радикальными цепями, класс буржуазного общества, который не является классом буржуазного общества, — это такая сфера, которая имеет универсальный характер вследствие ее универсальных страданий...» Дегуманизация пролетариев, выключенных из всех других сообществ, делает из них людей, и только людей, в универсальном смысле этого слова.

Это та самая идея, которую в различных формах используют философы-экзистенциалисты, и особенно Мерло-Понти: «Если марксизм отдает пролетариату привилегию, это происходит потому, что, согласно внутренней логике его положения, вследствие образа его

---

<sup>27</sup> Esprit, juillet-aout 1951, p. 13.

<sup>28</sup> Les communistes et la paix dans *Temps modernes*, octobre-novembre 1952, № 84–85, p. 750.

<sup>29</sup> Тойнби Арнольд Джозеф (1889–1975) – британский философ, культуролог, автор 12-томного труда по сравнительной истории цивилизаций. – *Прим. перев.*

менее решительного существования, помимо всех мессианских иллюзий, пролетарии, которые «совсем не боги», но только они в состоянии изменить человечество... Пролетариат, призванный рассматривать свою роль в существующем историческом созвездии, идет к признанию человека человеком<sup>30</sup>...», «Положение пролетариата таково, что он отстраняется от индивидуальных черт не идеями и отвлеченными понятиями, но в действительности и течением самой своей жизни. Только он *есть* универсальность, разносторонность идеи, только он реализует свое самосознание, которое философы в своих размышлениях лишь слегка обрисовали»<sup>31</sup>.

Презрение, которое с удовольствием испытывают интеллектуалы к профессиям в сфере торговли и промышленности, всегда казалось мне недостойным. А те, кто смотрит с высоты положения инженеров или руководителей производства и может узнать в рабочем у станка или у ленты конвейера универсального человека, покажутся мне симпатичными, но странными. Ни разделение труда, ни повышение уровня жизни ничего не вносят в эту универсализацию.

Понятно, что пролетарии, рассматриваемые Марксом, то есть те, которые работают по двенадцать часов в день, которых не защищают ни профсоюзы, ни социальные законы, которые подчиняются неумолимо твердым зарплатам, *не выделяются по отличительным признакам в своем несчастье*. Но это не рабочий Детройта, Ковентри, Стокгольма, Бьянкура или Рура, который напоминает не универсального человека, а гражданина своей страны, члена партии. Философ имеет право желать, чтобы пролетарий не вписался в существующий порядок, прибегая к революционным действиям. Но не стоит в середине XX века ставить вопрос об универсальности работника промышленности. В каком смысле французский пролетариат, разделенный между соперничающими организациями, может быть назван «единственной подлинной интерсубъективностью»<sup>32</sup>?

Следующий этап рассуждения стремится подтвердить эсхатологию марксизма, но является не более убедительным. Почему пролетариат *должен стать революционным*? Если ограничиться неопределенным смыслом последнего слова, можно сожалеть, что рабочие Манчестера 1850 года и Калькутты настоящего времени реагируют на ситуацию каким-то подобием бунта. Они осознают, что являются жертвой несправедливой организации. Все пролетарии не ощущают, что являются эксплуатируемыми или подавляемыми. Крайняя нужда или унаследованная от предков покорность судьбе подавляет это ощущение, а повышение уровня жизни и гуманизация отношений его смягчают. Оно, вероятно, никогда полностью не исчезнет даже при навязчивой пропаганде коммунистического государства, пока оно связано с положением наемного рабочего в структуре современных промышленных предприятий. Нельзя делать вывод о том, что пролетариат как таковой является стихийно революционным. Ленин с прозорливостью констатировал безразличие рабочих к своему предназначению, отношению к реформам *hic et nunc (здесь и сейчас)*. Теория партии, авангарда пролетариата, наверняка возникла из осознанной необходимости увлечь массы, которые стремятся к лучшей участи, но не хотят Апокалипсиса.

В марксизме молодого Маркса революционное предназначение пролетариата происходит из требований диалектики. Пролетариат – это раб, который победит своего хозяина, но не ради себя самого, а ради всех. Он – свидетель жестокости, которую еще совершит человечество. Маркс провел всю оставшуюся жизнь в поисках подтверждения посредством экономического и социального анализа истинности этой диалектики. Ортодоксальный коммунизм тоже, хоть и не без труда, настаивает на революционном предназначении пролетариата. Оно выражается глобальной интерпретацией, которую он считает неоспоримой. Упор на самом деле

<sup>30</sup> Humanism et Terreur, Paris, 1947, p. 120.

<sup>31</sup> Там же, p. 124.

<sup>32</sup> Термин осмысления психологических отношений между людьми, подчеркивающий суть нашего общественного бытия. – Прим. перев.

переносится на ценность партии. Однако ни существование, ни революционная воля партии не подлежат сомнению. Вначале они выражали свою приверженность партии потому, что она воплощала собой класс, продвигаемый на роль коллективного спасителя. В самой партии тем более задаются вопросом о классе, так как товарищи приходят из всех классов.

Кроме того, французские философы, которые желают считать себя революционерами, отказываются вступать в коммунистическую партию и тем не менее утверждают, что нельзя «воевать с рабочим классом и не стать врагом всех людей и самого себя»<sup>33</sup>. Промышленный рабочий середины XX века больше не является человеком, доведенным до неприглядного состояния, нет ликвидации всех классов и всех особенностей. Но тогда как эти мыслители оправдывают миссию, которую они ему доверяют?

Людам, хорошо владеющим языком, темы представляются примерно такими. Промышленный рабочий не может осознать своего положения, не бунтует; бунт – это единственная человеческая реакция на признание нечеловеческих условий. Работник не отделяет свою участь от судьбы других; он видит со всей очевидностью, что его несчастье – коллективное, а не индивидуальное, связанное со структурами всей системы, а не с намерениями капиталистов. Также и пролетарский бунт стремится к организации, к тому, чтобы стать революционным под управлением партии. Пролетариат формируется в класс только по мере того, как он обретает единство, а оно может произойти только в результате его оппозиции по отношению ко всем остальным классам. Пролетариат – это *его* борьба против общества.

Жан-Поль Сартр в своих последних произведениях исходил из истинно марксистской идеи, что пролетариат объединяется только в противостоянии с другими классами, и делает вывод о необходимости организации, то есть партии. Он неявно, незаметно путает пролетарскую партию с коммунистической партией и, таким образом, поворачивает в пользу последнего аргумента, который доказывает только необходимость партии для того, чтобы защитить интересы рабочих. Впрочем, неизвестно, этот аргумент подходит для французского пролетариата 1955 года, для пролетариата два века назад или для всех пролетариатов всех капиталистических режимов?

Вернемся к обычным рассуждениям. Если мы условились называть пролетариями рабочих промышленных предприятий, то каковы факторы их положения, против которых они восстают? А кто такие те, кого революция собирается низвергать? И в чем конкретно состоит приход «депролетаризированного» рабочего класса? И от чего победившие рабочие были отчуждены вчера и отличаются ли они от сегодняшних рабочих?

### Освобождение идеальное и реальное

Пролетарий, говорит Маркс, и ему эхом вторят писатели, «отчужден». Он не имеет ничего, кроме силы своего труда, который он сдает внаем на рынке собственнику средств производства. Он обязан выполнять мелкие задачи и получает за свой труд зарплату, которой едва хватает для того, чтобы содержать себя и свою семью. Согласно этой теории, именно частная собственность на средства производства является высшим началом, подавлением и эксплуатацией. Лишенный прибавочной стоимости, присваиваемой только капиталистами, рабочий, таким образом, не в состоянии заявить о своем человеколюбии.

Эти марксистские темы остаются на заднем плане размышлений. И их трудно воспроизвести такими, какие они есть. Суть доказательства в «Капитале» – это понятие, по которому заработная плата, как любой товар, будет иметь стоимость, определяемую нуждами рабочего и его семьи, а значит, повышение зарплат на Западе опровергает его без возражений. Или же, если оно интерпретировалось в более широком смысле, постоянная нужда рабочих зависит от

---

<sup>33</sup> J.-P. Sartre, Temps modernes, juillet 1952, № 81, p. 5.

коллективной психологии, а в этом случае само понятие нас больше ничему не учит. В середине XX века на свою зарплату рабочий в Соединенных Штатах мог купить себе стиральную машину или телевизор.

Во Франции почти не изучали «Капитал», и писатели редко цитируют его. Это забвение экономических теорем Маркса, ослабляющее анализ рабочего отчуждения, значит меньше, чем констатация очевидного факта: несколько претензий рабочих не имеют ничего общего с интересом к частной собственности. Они существуют точно такими же, когда средства производства принадлежат государству.

Перечислим основные претензии: 1) недостаточность вознаграждения; 2) чрезмерная длительность работы; 3) полная или частичная угроза безработицы; 4) озабоченность, связанная с техникой труда или заводской административной организацией; 5) опасения навсегда оставаться простыми рабочими и не иметь перспективы профессионального роста; 6) сознание стать жертвой фундаментальной несправедливости либо потому, что режим отказывает работнику в справедливой части национального продукта, либо потому, что он отказывает ему участвовать в управлении экономикой.

Марксистская пропаганда стремится распространить сознание фундаментальной несправедливости и подтвердить это теорией эксплуатации. Эта пропаганда не имеет успеха ни в одной стране. Там, где неотложные требования в большей степени удовлетворяются, привлечение к ответственности режима становится бесплодным радикализмом.

Марксистская интерпретация пролетарских несчастий не может показаться пролетариям правдоподобной. Жестокость наемного труда, бедность, техническая отсталость, жизнь без будущего, угроза безработицы: почему не выставить за все это счет капитализму, потому что это неопределенное слово означает одновременно и производственные отношения, и способ распределения? Даже в тех странах, где реформаторство продвинулось намного дальше, в Соединенных Штатах, например, где в основном распространены частные предприятия, существуют предрассудки, враждебные по отношению к прибыли, подозрения, всегда готовые вылиться в бунт, что капитализм или акционерные общества эксплуатируют своих рабочих. Марксистская интерпретация связывает будущее с обществом, к которому невольно обращаются взоры трудящиеся.

На самом деле, известно, что уровень зарплат на Западе зависит от производительности труда и распределения прибыли между инвестициями, военными затратами и потреблением, распределением прибыли между классами. Распределение прибыли в режимах советского типа является не более уравнивающим, чем в капиталистических или смешанных режимах. Наиболее значительной инвестиционной частью является в странах по другую сторону железного занавеса. Там экономическое развитие направлено в основном на рост мощи страны в большей степени, чем на повышение уровня жизни. И нет доказательств того, что коллективная собственность более благоприятна для роста производительности труда, чем частная собственность.

Уменьшение продолжительности рабочего времени оказывается сравнимым с капиталистическим. Угроза безработицы, наоборот, остается одним из зол всякого режима не столько частной собственности, сколько рынка. По крайней мере она не устраняется коренным образом при колебаниях конъюнктуры и не связана с перманентной инфляцией, любая свободная экономика наемного труда несет в себе риск безработицы, по крайней мере временной. И не надо отрицать этой невыгодной стороны, надо, насколько возможно, сокращать ее.

В том, что касается трудностей промышленных работ, психологи технического производства проанализировали его многочисленные причины и особенности. Они разработали методы, способные уменьшить усталость или однообразие труда, сократить жалобы, интегрировать рабочих в подразделения завода или целиком в производство. Любой режим, либо капиталистический, либо социалистический, может применять или не применять эти методы. Слабое

развитие частной собственности в этом отношении ставит под вопрос режим и призывает многих рабочих и интеллектуалов требовать применения обучения, связанного с науками о человеке, с целью социальной безопасности.

А зависят ли шансы продвижения по службе от режима? Ответ не слишком приятный: сравнительные исследования мобильности недостаточно совершенны для категорических суждений. В основном подъем по карьерной лестнице тем выше, чем больше процент профессий, не связанных с ручным трудом. Экономический прогресс сам по себе является фактором мобильности. Сглаживание сословных предубеждений в странах буржуазной демократии должно было бы ускорить обновление элит. В Советском Союзе ликвидация бывшей аристократии, скорость строительства промышленных предприятий сильно повышает шансы такого продвижения.

Наконец, протест против режима как такового логически называется революцией. Если капитализм, определяемый по частной собственности на средства производства и рыночным механизмам, есть источник всяческих зол, то реформы становятся предосудительными, достойными осуждения, поскольку они рискуют продлить существование ненавистной системы.

Исходя из этих суммарных и обычных замечаний, различаются две формы освобождения рабочих, или конца отчуждения. Первая, никогда не завершаемая, состоит из многих, в том числе частичных мер: вознаграждение рабочих повышается одновременно с увеличением производительности труда, социальные законы защищают семьи и стариков, профсоюзы свободно спорят с работодателями об условиях труда, расширение системы обучения повышает шансы продвижения по карьерной лестнице. Назовем такое освобождение *реальным*: оно выражается в конкретных улучшениях положения пролетариата, при нем остаются недостатки (безработица, трудности внутри предприятия) и иногда, при более или менее сильном меньшинстве, бунт против основ режима.

Революция советского типа предоставляет абсолютную власть меньшинству и превращает многих рабочих или сыновей рабочих в инженеров или комиссаров. А сам пролетариат, то есть миллионы людей, занятые ручным трудом, освобожден ли он?

Уровень жизни не вырос внезапно и в странах народной демократии Восточной Европы; скорее, он понизился, новые правящие классы, вероятно, еще не успели направить в свою пользу национальный продукт в такой степени, как старые. Там, где существовали свободные профсоюзы, теперь есть органы, подчиняющиеся государству, функция которых состоит в том, чтобы вдохновлять на трудовые усилия, но не на требования. Риск безработицы исчез так же, как и свободный выбор профессии или места работы, выборы руководителей профсоюзов и управляющих. Пролетариат больше не отчужден потому, что в соответствии с идеологией он обладает средствами производства, в том числе и государственными. Но он не свободен ни от рисков ссылки, ни от трудовых книжек, ни от власти управленцев.

Можно ли сказать, что такое освобождение, которое мы называем *идеальным*, является иллюзорным? Мы не станем полемизировать на эту тему. Пролетариат, говорим мы, склонен объяснять структуру всего общества в соответствии с марксистской философией: он считает себя жертвой хозяина даже тогда, когда в значительной степени является жертвой несовершенств условий производства. Но такое суждение может быть ошибочным, хотя может быть и справедливым. При свержении капиталистов, замененных государственными управленцами, при внедрении плановой экономики все становится понятным. Несправедливость в вознаграждении объясняется большим неравенством в должностях, снижением потребления при увеличении капиталовложений. Пролетариату, по крайней мере большинство из них, легче принимают управляющего фирмой Zeiss, назначенного государством, чем хозяина Packard'a. Они не протестуют против лишений, потому что видят их необходимость для светлого будущего. Те,

кто верит в бесклассовое общество на историческом горизонте, чувствуют себя связанными с великим делом, которое будет создано ценой их жертв.

Мы называем *идеальным* освобождение, которое марксисты называют *реальным*, потому что так его определяет идеология: частная собственность будет причиной всякого отчуждения наемного работника вместо того, чтобы стать индивидуализированной с помощью служб работодателя. Она станет всеобщей при советском режиме, при ее коллективном участии, свободной, потому что будет подчиняться необходимости, которую воплощают планы индустриализации, соответствующие требованиям истории, управляемой суровыми законами.

Кто обвиняет капитализм как таковой, предпочитает плановую экономику с политической жестокостью, противопоставляя ее рыночным механизмам с их непредвиденными чередованиями кризисов. Советизация уже вошла в историю. Она хочет, чтобы ее судили меньше за то, что она есть, чем за то, чем она будет. Медлительность подъема уровня жизни во время первых пятилетних планов объясняется не доктриной, но необходимостью увеличения военно-экономической мощи Советского Союза, который все время находится под угрозой. Идеальное освобождение вне фазы социалистического строительства будет все больше напоминать реальное освобождение.

Никакие теоретики большевизма даже представить не могли до взятия власти, что профсоюзы будут повиноваться социалистическому государству. Ленин уловил опасность в том, что государство, называющее себя пролетарским, повторяет ошибки буржуазного государства. И он заранее осудил независимость профсоюзов. Крах экономики после Гражданской войны, военный способ управления, принятый Троцким и большевиками, чтобы противостоять врагам, заставили забыть о либеральных идеях, которые они провозглашали прежде.

Без сомнения, сегодня они заявили, что требования, забастовка, оппозиция к власти больше не имеют смысла, поскольку государство стало пролетарским. Критика бюрократии остается разрешенной, необходимой. В узком кругу, согласно учению об эзотерике, рассматривают расширение права критиковать тогда, когда развитие социалистического строительства позволит ослабить дисциплину. При режиме, не подвергающемся сомнению, такие профсоюзы, как британские или американские, защитят интересы рабочих от требований управленцев. Необходимые требования постепенно будут выдвигаться к руководству профсоюзов всех промышленных объединений и будут обречены на обязательное выполнение.

Признаем на время даже этот оптимизм: должны ли были страны Запада, которые прошли в XIX веке этап развития, соответствующий этапу первых пятилетних планов, принести в жертву реальное освобождение мифу об идеальном освобождении? Там, где капиталистический или смешанный режим скованы в своем развитии, люди обращаются все к тем же аргументам, что и в слаборазвитых странах: безусловная власть одной группы, хозяйки государства, она единственная может сломить сопротивление феодалов или крупных собственников и ввести коллективное накопление. Там, где продолжается экономическое развитие или уровень жизни достаточно высок, зачем пролетариям реальные свободы (если пока есть частичные) приносить в жертву полному освобождению, которое странным образом смешивается со всемогуществом государства? Может быть, оно дает ощущение прогресса тем рабочим, которые не имеют опыта профсоюзов или западного социализма. С точки зрения немецких или чешских тружеников, которые знают реальные свободы, полная свобода всего лишь мистификация.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.